

ЧАСТЬ 2

Очерки теории языкового субстрата

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ввиду субстратного характера остатков мерянского языка в русском представляется необходимым рассмотреть основные особенности языкового субстрата в целом на примерах из разных языков, тем более, что далее речь пойдет о внешней истории мерянского языка и об обстоятельствах его постепенной субстрации.

Изучение языкового субстрата, начатое еще в первой половине 19-ого века датским ученым Я.Х.Бредсдорфом и получившее особенно широкий размах после работ итальянского лингвиста Г.И.Асколи, имеет свою долгую и сложную историю. Освещение этой истории, поучительное и интересное само по себе, могло бы стать предметом специального исследования. Тем самым, однако, был бы полностью изменен первоначальный замысел автора настоящей книги,

который ставил своей целью не столько критическое освещение прошлого изучения субстрата, сколько теоретическое осмысление сделанного здесь в последнее время, в том числе и им самим.

Настоящая книга состоит из двух частей – теоретической, где обобщается проблема языкового субстрата в целом на основе уже изученного материала, и исследовательской, где дается конкретный пример историко-социолингвистического комментирования субстратного (мерянского) языка на основе предыдущей его реконструкции. Цель предлагаемой книги – подвести итоги тому, что в настоящее время известно о природе языкового субстрата, и наметить пути его дальнейшего, в частности социолингвистического, исследования. Насколько это удалось ее автору, судить читателю.

ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВОГО СУБСТРАТА¹

I. ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СУБСТРАТА. СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Языковой субстрат и его место в развитии языков

Социолингвистические процессы, приводящие, с одной стороны, к постепенному отмиранию одного из двух взаимодействующих языков, а с другой, к включению его сохранившихся остатков в качестве субстрата в другой язык, становящийся таким образом преемником первого, представляют собой целый комплекс взаимосвязанных проблем, которые не могут быть с достаточной полнотой и удовлетворительностью решены усилиями одних только лингвистов. Можно полностью согласиться с мыслью, что «только благодаря помощи представителей смежных с лингвистикой дисциплин получают реальное обоснование или будут опровергнуты те или иные гипотезы лингвистов» (Борковский, с. 5), касающиеся субстрата. «Без исследований археологов, этнографов, антропологов неразрешима проблема субстрата, который понимается нами в широком смысле слова как элементы побежденного языка, усвоенные языком-победителем» (там же, с. 5). Это требование совершенно справедливо и объясняется тем, что «субстрат не есть понятие чисто лингвистическое. Явление субстрата предполагает этногенетический процесс, сопровождающийся определенными языковыми последствиями. Выдающийся интерес пробле-

мы субстрата заключается, между прочим, именно в том, что это одна из тех проблем, где наиболее очевидным и осязаемым образом история языка переплетается с историей народа. В самом деле, когда мы говорим, например, о кельтском субстрате во Франции, мы прежде всего констатируем, что французы, несмотря на свой романский язык, связаны генетически с кельтским народом — галлами, населявшими Францию до римского завоевания; этот факт не остался без влияния и на язык. Языковой субстрат предполагает субстрат этнический» (Абаев, 1956, с. 58). Следовательно, о том, что «озаглавлено «О языковом субстрате», точнее было бы сказать: о языковых последствиях этнического субстрата» (там же, с. 58). Принимая полностью упомянутые соображения и соглашаясь с необходимостью комплексной разработки проблемы языкового субстрата общими усилиями представителей ряда гуманитарных наук, а не только лингвистов, следует тем не менее, не ожидая момента, когда возникнут предпосылки для подобного наиболее эффективного комплексного исследования, решать проблему субстрата отдельно.

Сознавая вынужденную неполноту подобных исследований, ими должны заниматься и лингвисты, в частности, наиболее сложной частью задания — выяснением социолингвистических предпосылок возникновения и формирования субстрата. Особая ответственность при выяснении социолингвистических предпосылок возникновения субстрата ложилась на советских лингвистов, что вытекало из двух обстоятельств: 1) из обязанности представить научное ис-

¹ Ввиду того, что образование рассматриваемых здесь (преимущественно евразийских) субстратов относится к более или менее далекому прошлому, привлекаемые для исследования факты связаны, как правило, с периодом до XX в.

торико-материалистическое понимание социолингвистических процессов в противовес представителям зарубежного буржуазного языкознания² и 2) из того, что Советский Союз являлся многонациональным государством, для которого правильное решение социолингвистических вопросов, в том числе проблемы субстрата, представляли собой значительную теоретическую и практическую ценность.

Поскольку выработка и обоснование положительной научной концепции неизбежно предполагают опровержение противоречащих ей отрицательных антинаучных взглядов, в борьбе против которых уточняются и конкретизируются ее положения, будет нелишним, подходя к освещению особенностей языкового субстрата и его социолингвистических предпосылок, начать с опровержения неприемлемых на него взглядов.

В подходе зарубежной науки к понятию субстрата следует отметить два диаметрально противоположных взгляда. Первый из них заключается в том, что от самого понятия субстрата пытаются отказаться или во всяком случае подвергнуть сомнению целесообразность его применения. На основании субъективных соображений, в лучшем случае подтверждаемых отдельными неудачными работами, посвященными субстрату, по которым нельзя судить об этой обширной проблеме в целом, высказывается мнение, что понятие субстрата становится все менее популярным в современном языкознании, что оно устарело и т.п. Примером подобного подхода является работа Р.Фаукеса «Английская, французская и немецкая фонетика и теория субстрата». Справедливо критикуя в ней недостаточно убедительное объяснение в статье П.Делатра (Delattre, p. 43–55) черт английской фонетики, отличающихся от немецких влиянием кельтского субстрата, Р.Фаукес, не под-

² При том, что в СССР борьба с зарубежным буржуазным языкознанием предписывалась существующим строем, всё же остаётся актуальной и до сих пор борьба с привнесёнными ниже и подобными им теоретическими концепциями, как, в сущности, антинаучными, поскольку они исходят не из объективного и добросовестного исследования фактов, а из предвзятых мнений или из сугубо априорных умозрительных построений, не подтверждаемых реальными данными.

тверждая свои выводы какими-либо другими примерами, выражает скепсис по поводу применения понятия субстрата в языкознании вообще. «Вряд ли кто-нибудь будет оспаривать, — пишет он, — взаимодействие соседей-современников или же почти очевидный факт, что поколение, изучающее новый язык, принесет в этот язык много собственных речевых навыков. Что же касается таинственной атавистической силы древних субстратов, то она представляется окутанной слишком густым туманом, чтобы можно было вести научное наблюдение: есть лишь возможность строить всякие, иногда довольно увлекательные предположения ... Конечно, надо быть благодарным за любую попытку приблизиться к «объясняющей лингвистике», однако теория субстрата до сих пор остается исключительно шатким основанием для какого-либо объяснительного построения» (Фаукес, с. 342–343). Высказанное здесь критическое замечание недостаточно убедительно и может быть принято безоговорочно только как предостережение против необоснованного употребления понятия субстрата. Однако нельзя согласиться с тем обобщением в отношении субстратных исследований, которое делает Р.Фаукес и которое можно воспринять только как полное отрицание возможности конструктивного применения этого понятия в том случае, когда речь идет о последствиях взаимодействия двух языков в древности на одной территории, при котором один язык исчез, а другой сохранился, включив в себя — в большей или меньшей степени — пережитки первого.

Наряду со взглядом, заключающимся в полном отрицании субстрата, в зарубежном языкознании распространён противоположный, сущность которого состоит в преувеличении роли субстрата, его абсолютизации, в безоговорочном принятии его возникновения и воздействия, обусловленного чисто биологическими, генетическими причинами. Этот взгляд, будучи представленным в работах некоторых зарубежных лингвистов и являясь одинаковым в своей основе и различным только в деталях, отмечается на протяжении всей первой половины XX века. Так, немецкий ученый Э.Гамилльшег еще в 1911 г. высказал мысль,

свидетельствующую о том, что субстрат в фонетике представляется ему чем-то неизблемым, независимым от условий взаимодействия двух языков: «То, что население способно полностью отказаться от собственной артикуляционной базы в пользу чужой, является абсолютно недоказанной гипотезой» (Gamillscheg, S. 185). Если в высказывании Э.Гамилльшега только подчеркнута обязательность сохранения субстрата (в данном случае фонетического), по-видимому, в любых условиях, а, следовательно, и независимо от них, то несколько позже голландский лингвист Я. ван Гиннекен попытался обосновать подобную неизблемость фонетического субстрата наследственностью звуковых законов. Ср.: «Общие задатки человека являются... настолько многосторонними, а артикуляционные базы большинства европейских языков настолько похожими, что здесь у нас практически любой ребенок без труда может усвоить артикуляционную базу своего окружения в качестве фенотипа, не теряя при этом полностью и своей собственной генотипической артикуляционной базы. Последняя, например, проявится отчетливо, когда этот ребенок, иногда через много лет или в своих потомках, возможно, через столетия, снова придет в соприкосновение со звуками своей собственной артикуляционной базы. Тогда такой человек может вдруг почувствовать себя сразу как дома, задвигаться сразу с величайшей легкостью, тогда он станет певучим художником языка, тем временем как до того он был всего лишь подражателем-халтурщиком» (Ginneken, S. 13) Ту же позицию субстратной наследственности звуковых законов и особенностей значительно позже занял французский ученый А.Доза, объясняя, например, отсутствие звука v в баскском языке явлением прогнатизма (выдвинутой вперед нижней челюстью, касающейся поэтому не зубов, а верхней губы), которое привело к тому, что возникла тенденция к произношению b вместо v, точнее звука β, занимающего промежуточное положение между v и b (Dauzat, 1953, p. 34). Воздействие субстрата (в фонетике) объясняется и здесь генетическими (антропологическими либо биологическими) особенностями, совершен-

но независимыми от социальных условий развития языковых процессов, в данном случае взаимодействия языков.

В большинстве случаев врожденность субстрата, его генетико-антропологическую предопределенность в работах зарубежных лингвистов относят, как видно из приведенных выше высказываний, к фонетике. Однако наблюдаются попытки распространить подобное объяснение и на другие области субстратных явлений. Так, Э.Леви появление в языке старого Гете парных образований типа Wechsel – Dauer «изменчивость – стойкость», Rache – Segen «месть – благословенье», herrlich – hehr «великолепный – величественный» и т.п., т.е. черту, относящуюся к особенностям словообразования, пытается объяснить тем, что в старости в языке великого поэта все больше стал проявляться биологический тип его предков по отцовской линии со свойственными ему языковыми особенностями. Поскольку эти предки родом из Восточной Франконии, где в прошлом жили славяне, по-видимому, сами были славянами, славяне же, по мнению Э.Леви, – «финно-угризованные индоевропейцы» (Lewy, 1961, S. 91–105; 1961a, S. 106–112), а, как известно, для части славянских и всех финно-угорских языков парные слова весьма характерны, то возвращение под старость к этому исходному типу было связано у Гете, в частности, с перенесением в немецкий язык присутствующей славянам (и их субстрату, финно-уграм) модели парных слов (Ткаченко, 1979, с. 90–91, 96–97, 116–117, 125–126, 145–146, 159–160, 169–170, 176–214). Несмотря на возможность более правдоподобного научного объяснения указанной особенности языка старого Гете вполне реальными обстоятельствами – его непосредственным окружением и языком этого окружения, где, действительно, под влиянием славянского субстрата в немецком языке могла приобрести известную продуктивность модель парных слов, Э.Леви исходит из чисто биологического фактора, якобы «воскресившего» под старость у Гете одну из черт его далеких предков. Даже такая деталь, как появление упомянутой языковой черты (парных слов) именно у старого Гете, что могло бы толковаться вполне реалистично как следствие

большей уверенности Гете, авторитетного мастера языка и стиля, в своем праве использовать известные ему языковые черты, если они и не совпадают с обычными нормами немецкого языка, объясняется особенностями унаследованного им биологического типа, усилившего свое влияние на поэта в старости. Таким образом, научному и аргументированному объяснению субстратных черт как особенностей, обусловленных прежде всего социолингвистическими обстоятельствами, предпочтено, в сущности, идеалистическое обоснование их появления действием биологической, генетической силы. Оба взгляда, как тот, в котором полностью отвергается само понятие субстрата, так и тот, на основании которого субстрат объявляется чем-то совершенно неизблемым и свойственным языку в любых условиях, причем связанным не с социальными условиями его развития, а с чисто биологическими особенностями его носителей, является ненаучными, идеалистическими и поэтому абсолютно неприемлемыми. Каждый из них по-своему вреден для дальнейшего развития языкознания. Отрицательно может сказаться на развитии науки, в частности, нигилистический подход к понятию субстрата, при котором последний признается несуществующим, а те стороны в истории языка, которые могут быть познаны с его помощью, – субстратные включения в языке-преемнике, возможность частичной реконструкции отмершего субстратного языка с помощью его остатков, – объявлены в конечном счете непознаваемыми. Таким образом, в этом взгляде на субстрат и его проявления отражена в наибольшей степени такая черта идеализма, как агностицизм. Взгляд, на основании которого субстрат полностью отвергается, совершенно неприемлем с разных точек зрения. Он опровергается как с методологической точки зрения, так и эмпирически самой практикой лингвистической исследовательской работы.

Стоит отметить, что, хотя термин *субстрат* еще отсутствует у Ф.Энгельса (термин распространился позже), само понятие субстрата было принято этим классиком марксизма, специально интересовавшимся и занимавшимся вопросами языкознания. В своей работе «Франкский диалект», написанной в

80-е годы прошлого века, Ф.Энгельс в значении «субстрат» употребляет близкое по смыслу к нему слово «пережиток» (*Überrest*) применительно к франкскому субстрату в древнесаксонском языке (Энгельс, с. 24, 25). Говоря в той же работе о фризском субстрате в западно- и северогерманских языках, Ф.Энгельс не употреблял никакого термина, но описательно настолько точно характеризует само явление субстрата, что у современных ученых, в частности у советского нидерландиста С.А.Миронова, не вызывает ни малейшего сомнения то, что в данном случае Ф.Энгельс имеет в виду (фризский) субстрат, – ср.: «На западе он (фризский) был оттеснен или совсем вытеснен нидерландским (языком), на востоке и севере – саксонским и датским, но в обоих случаях оставляя сильные следы в языке, который вытеснил его (... in beiden Fällen starke Spuren in der eindringenden Sprache zurücklassend (подчеркивание мое. – *О.Т.*) (Энгельс, с. 29, 31). По поводу этого места у Ф.Энгельса С.А.Миронов замечает: «В приведенном отрывке дана в чрезвычайно сжатой форме исчерпывающая и глубоко научная характеристика языковых отношений, сложившихся в Нидерландах в XVI–XVII вв. в связи с перенесением центра языкового развития на север и со смещением диалектной базы нидерландского литературного языка. Вместе с тем здесь очень ярко и убедительно показан гетерогенный, смешанный характер новонидерландского языка: необходимость выделения в нем основного франкского ядра и элементов ингвеонского (преимущественно фризского) субстрата» (подчеркивание мое. – *О.Т.*) (Миронов, с. 248). Методологическая обоснованность и целесообразность применения понятия субстрата, нашедшего отражение в трудах Ф.Энгельса, подтверждена как в самом его исследовании «Франкский диалект», получившем высокую оценку в работах современных германистов³, так и в последующих работах

³ См., в частности, у Т.Фрингса: «То, что мы (немецкие германисты. – *О.Т.*) обнаружили на Рейне в процессе кропотливой и напряженной работы, на 40 лет раньше уже было открыто взору Энгельса. В своей работе Ф.Энгельс, еще в период безоговорочного господства младограмматиков, отказывается

отечественных и зарубежных исследователей. В частности, эта целесообразность доказана в тех исследованиях, где на основании изучения элементов субстратного языка в языке-преемнике была получена возможность хотя бы фрагментарной, но в то же время системной реконструкции угаснувших языков, дошедших до нашего времени преимущественно или исключительно в составе субстратных элементов языка-преемника (Ткаченко, 1985; Reichenkron). Сама возможность создания подобных работ была бы полностью исключена при отсутствии явления субстрата. Отрицательное отношение к субстрату, непризнание его существования вредно тем, что, внушая нигилистическую мысль об отсутствии субстрата или его непознаваемости, граничащую с прямым агностицизмом, оно тормозит развитие субстратоведческих исследований, а тем самым реконструкцию исчезнувших языков, сохранившихся только в виде субстрата, и глубокое исследование истории языков-преемников, включивших в себя субстратные элементы того или иного исчезнувшего языка.

Не менее отрицательно сказывается на исследовании языковых субстратов и субстратных языков и другое идеалистическое направление зарубежного языкознания, которое, напротив, тяготеет к преувеличению роли субстратов, их абсолютизации, а в конечном счете к отрыву развития языка в его взаимодействии с другими языками от (конкретной) истории общества. Исходя из этого, нельзя согласиться с чисто биологической или антрополого-генетической, причем совершенно не связанной с историей общества, носителями определенного языка (языков), трактовкой, которую явление субстрата получает в работах Э.Гамилльшега, Я. ван Гиннекена, А.Доза, Э.Леви и их последователей. Этому, кстати, не противоречат и недавно полученные данные фонетического эксперимента, которые как будто от чисто физиологического, построенного на естественнонаучных закономерностях, рассмотрения языка. Вместо застывшего и неподвижного, вместо отдельного и разрозненного, вместо догматического правила Энгельс видит историческое движение и историческую жизнь. Он совершает, не оговаривая этого специально, переход к социально-историческому рассмотрению языка» (Фрингс, с. 223).

подтверждают мысль о врожденной национальной артикуляционной базе. Так, эксперимент, проведенный грузинским и русским фонетистами на двух группах грудных детей нескольких часов от роду, происходящих от чисто грузинских (в первой группе) и чисто русских (во второй) родителей, при изучении артикуляционно-акустических особенностей их крика показал, что у грузинских детей значительно сдвинута назад артикуляционная база. Следовательно, их голосовой аппарат как бы заранее предрасположен к более удобному, чем у русских, произнесению типичных грузинских звуков, в том числе абруптивных (смычногортанных), особенно трудных для усвоения негрузин. Артикуляционная база русских детей, напротив, с самого младенчества, т.е. задолго до усвоения языка, как бы приспособлена к исходному положению, наиболее удобному для усвоения русских звуков (Джаридзе, Стрельников, с. 58–64). Однако независимо от интерпретации рассматриваемого явления, которое допускает возможность объяснения и с социолингвистической точки зрения (как результат «настройки» голосового аппарата младенца еще в утробный период вследствие отражения особенностей артикуляции матери, говорящей по-грузински или по-русски, являющейся членом грузинского или русского (языкового) общества), – даже в том случае, если рассмотренный выше феномен обусловлен исходными генетико-биологическими факторами, он не дает основания рассматривать явление субстрата в целом как результат только сугубо биолого-генетических особенностей и процессов. Это объясняется тем, что, даже при наличии определенной предрасположенности к большей или меньшей легкости произношения тех или иных звуков, которая в примере лингвистического эксперимента тоже ведь вытекает в конечном счете из факта социолингвистического – принадлежности обоих родителей к одной языковой общности, судьбы дальнейшего развития фонетики определенного индивида или группы (коллектива, общности) говорящих зависят не столько от фонетической предрасположенности, в какой-то степени, возможно, обусловленной и биологическими факторами, сколько в значительно большей степени от

социологических (социолингвистических) причин. В еще большей степени это относится к явлениям лексики, фразеологии и грамматики. Упомянутый выше взгляд характеризуется тем, что в нем на первом месте стоит фактор биологический, расово-генетический, хотя речь идет о языке, явлении, свойственном человеку, существу прежде всего общественному, формирующемуся и развивающемуся вместе с языком в связи с особенностями развития общества, а не вне его, в отрыве от него. Как бы ни были сильны в человеке черты антропологические, обуславливающие и его фонетику, фонетические особенности его произношения могут быть признаны в качестве действующих норм, — а не его индивидуальных, отклоняющихся от них особенностей, — только в случае их принятия языковым коллективом, обществом. Что же касается передачи по наследству артикуляционных субстратных черт, то она маловероятна хотя бы уже в связи с самим биологическим способом воспроизводства человека (не говоря даже о социальных факторах), который с неизбежностью предполагает для продолжения рода объединение генов одной линии наследственности с генами другой. Как в подобных условиях, уже биологически сложных (безотносительно даже к языковым традициям общества) может проложить себе дорогу линия определенной генетически обусловленной артикуляционной базы, «объясняет» разве что идеалистическая мистика расизма. Ничего общего с истинной наукой, базирующейся на принципах разумно обоснованного научного материализма, подобные взгляды не имеют. Нельзя не согласиться ввиду этого с приводимым Б.Гавранек мнением Е.Уотма (Whatmough), который по поводу подобных субстратных теорий пишет: «С мистической или атавистической интерпретацией субстрата нужно покончить раз и навсегда; это химера или, вернее, собрание химер» (Гавранек, с. 109).

Критическое рассмотрение идеалистических, антинаучных взглядов на языковой субстрат и причины его возникновения позволяет, таким образом, с еще большей точностью и конкретностью, чем бы это могло быть сделано без него, говорить о том, что наиболее глубокими и определяющими

причинами, ведущими, с одной стороны, к отмиранию одного из двух взаимодействующих языков, а, с другой, к постепенному превращению остаточных пережитков первого в субстрат второго из этих языков, являются преимущественно социолингвистические. Другие причины и факторы, действующие при этом в своей основе социолингвистическом процессе, — интралингвистические (внутриязыковые, такие, как фонетические, лексические, грамматические изменения, связанные с действием сугубо внутриязыковых факторов), психолингвистические, этнолингвистические и т.д., — выступают в данном случае только как сопутствующие и производные по отношению к социолингвистическим причинам.

Субстрат, так же как и другие, смежные с ним, явления — суперстрат, интерстрат, адстрат, инстрат⁴, представляет собой следствие взаимодействия двух (реже нескольких) языков. Однако в отличие от адстрата и инстрата, где речь идет о заимствованных элементах из живых языков, и от интерстрата, где, несмотря на известную омертвелость иврита как основы интерстрата, он никогда не становился полностью мертвым и в конечном счете снова стал полностью возрожденным, живым языком, в случаях субстрата и суперстрата речь идет об элементах языка, ставшего мертвым для носителей языка, в котором эти элементы выступают. В субстрате в качестве мертвого, растворенного в своих

⁴ Суперстрат — остатки языка пришельцев, растворившегося в языке автохтонов (например, элементов болгарского языка в болгарском, франкского во французском, англо-норманнского диалекта старофранцузского языка в английском и под.). Интерстрат — каждый из остатков предыдущего языка, в основном с преобладанием элементов иврита, в следующем из языков евреев с периода утраты иврита в качестве разговорного языка до времени восстановления его в этой функции в еврейской части Палестины (> государстве Израиль). Адстрат — слой заимствований, возникающий в каждом из смежных языков в результате их контактов, не приводящих к вытеснению одного языка другим (например, болгарские заимствования в румынском, румынские в болгарском). Инстрат — слой заимствований в языке, подвергшемся особенно сильному воздействию со стороны смежного и однотерриториального с ним языка (немецкие элементы в ретороманском Швейцарии).

сохранившихся элементах языка в языке-преемнике выступает язык автохтонов, в суперстрате, напротив, языком-преемником является язык автохтонов, языком отмершим и растворившимся в нем становится язык пришельцев.

Очевидно, в наиболее чистом виде суперстрат сохраняет свое своеобразие по отношению к субстрату только тогда, когда его носителями являются небольшие группы завоевателей, сравнительно быстро растворяющиеся среди побежденных. В этом случае завоеватели, составляющие узкую и немногочисленную прослойку, правящую завоеванной территорией и командующую войсками, растворяясь в местном населении, как правило, не оказывают влияния на фонетику и грамматику языка автохтонов, обогащая главным образом только его лексику словами, связанными преимущественно с управлением и армией, реже, когда речь идет об определенном культурном превосходстве пришельцев, это обогащение лексики касается культуры в широком понимании. Если же будущее суперстратное население проникает на завоеванную территорию большими массами, заселяя значительную ее часть, с социолингвистической точки зрения его общественные низы, составляющие наибольшую долю среди пришельцев и дольше всего сохраняющие свой язык, со временем, когда язык завоевателей, теряя полностью свой престиж, начинает отмирать, оказываются, в сущности, в таком же положении, как и носители субстратного языка. Результат отмирания этого суперстратного языка в таком случае в основном ничем не отличается от последствий отмирания языка субстратного. Поэтому, очевидно, точнее было бы говорить при этом не о языковом суперстрате, а о субстрате, который ввиду вторичности появления на территории его распространения следует в отличие от обычного первичного субстрата называть вторичным субстратом. Следы подобных вторичных субстратов можно, в частности, обнаружить в диалектах и языках современной Романии на месте бывшего распространения германских языков, принесенных сюда германскими завоевателями в эпоху великого переселения народов, таких, как готский и лангобардский в Италии, франкский

и бургундский во Франции и т.д. Рассматривая социолингвистические предпосылки образования субстратов, следовательно, нужно иметь в виду не только первичные, т.е. наиболее типичные, субстраты, но и вторичные, возникшие на основе исходных суперстратов. Целесообразнее все же, рассматривая явление субстрата в целом, исходить в основном из первичных субстратов как наиболее типичных, прежде всего в связи с тем, что первичный субстрат в наибольшей степени соответствует социолингвистическому представлению об этом языковом образовании. С ним (в отличие от суперстрата) с самого начала связано представление о языке (соответственно позднее – его остатках), находящемся в социологически низшем положении относительно другого языка (в дальнейшем – языка-преемника), наложившегося на него и занимающего более высокое положение⁵.

Появление субстратов, как уже отмечалось выше, связано с исчезновением языков, вытесняемых другими языками, появившимися вместе с их носителями на прежде не занимаемой ими территории. В истории языков, которыми пользуется человечество, – с тех пор, как эта история стала известной, – отмечается три типа их развития: 1) независимое, относительно автономное, развитие языка на той или иной территории, не связанное как с вытеснением этого языка другими языками, так и с экспансией данного языка за границы своего первоначального распространения; 2) более или менее значительная экспансия языка за пределы территории своего первоначального распространения, связанная обычно с тем, что данный язык в связи со своей экспансией вытесняет и замещает другие языки; 3) вытеснение первоначально существовавшего на той или иной территории языка, вызванное экспансией на эту территорию другого языка, и в связи с этим переход населения, проживающего на данной территории, со своего языка на язык пришельцев. Если в первом случае

⁵ Об этом говорит и сам термин *субстрат*: ср. лат. *sub-stratus* «под-стилка» от *sub-sterno* «под-стилаю, под-кладываю, кладу под что-либо», с которым связано представление о социологически низшем языковом слое.

языковые контакты не связаны со сменой языка, то во втором и третьем случаях лингвистической ситуации, которые взаимосвязаны и взаимозависят друг от друга, языковые контакты приводят к замене одного языка другим. Именно с ними связано также появление языкового субстрата. Истории известно очень много случаев экспансии языков и соответственно вытеснения ими других языков. Поскольку языковая экспансия очень часто, приводя к распространению того или иного языка, затем заканчивалась распадом его на ряд диалектов, а впоследствии и к появлению развившихся на их основе родственных языков, причем территория распространения каждого из них оказывалась, как правило, связанной с территорией бывшего распространения вытесненных субстратных языков (при отсутствии языковой экспансии подобное явление не отмечалось), можно думать, что распаду первоначально единого языка в случае его экспансии в значительной степени способствовало появление разных субстратов, вызывавшее расхождение в развитии того же самого языка на разных территориях, а это в конечном счете приводило к превращению единого языка в ряд родственных языков. Типичным примером подобного развития, известного истории, является экспансия латинского языка в западной и центральной части Римской империи, так наз. романизация, приведшая через несколько веков после падения западной части Римской империи и захвата варварами римской провинции Даккии к образованию группы родственных романских языков, на которые распалась единая народная латынь, – итальянского, сардского, португальского, испанского, галисийского, каталанского, французского, провансальского, ретороманского, далматинского, румынского. Следует думать, что подобная же экспансия прагерманского и праславянского языков, менее известная истории ввиду более позднего появления письменности у соответствующих народов, привела к образованию двух больших языковых групп – германской и славянской. Там, где подобной экспансии не произошло или ее последствия были уничтожены экспансией других языков (эллинизация вос-

точного Средиземноморья, перекрытая последствиями позднейшей арабизации), групп (семей) родственных языков не возникло. Именно поэтому в настоящее время в составе, например, индоевропейской семьи можно встретить языковые группы, представленные одним языком, – албанскую, греческую, армянскую.

Таковы общие, в том числе социолингвистические, особенности субстратов и их место в процессе развития языков.

2. Социолингвистические причины и особенности возникновения субстрата

При всем многообразии конкретных случаев взаимодействия двух языков, результатом которых явилась смена языка, вызванная вытеснением одного языка другим и включением остатков вытесненного языка, языкового субстрата, в язык-преемник, все наблюдаемые при этом особенности сложного социолингвистического процесса обнаруживают значительное число общих моментов. Это позволяет, отвлекаясь от частных процессов смены языков и используя наиболее типичные черты конкретных примеров только для воссоздания общей картины, попытаться дать обобщенное представление о нем, моделировать социолингвистический процесс, сопутствуемый образованием субстрата.

Одну из необходимых социолингвистических предпосылок, связанных в конечном счете через ряд посредствующих этапов с вытеснением языков и возникновением на основе их пережитков субстрата, представляет собой явление языковой экспансии.

Истории известен целый ряд примеров языковой экспансии, широкого распространения тех или иных языков: в древности греческого (в восточном Средиземноморье), латинского (в западном Средиземноморье), в средние века арабского, в новое время русского, английского, французского, испанского, португальского. К примерам языковой экспансии относится, несомненно, также распространение индоевропейских языков, которому должна была предшествовать экспансия индоевропейского праязы-

ка и его различных ответвлений. Сюда же следует отнести распространение таких неиндоевропейских языков, как китайский, тюркские, финно-угорские, малайско-полинезийские и ряд других. В основе широкого территориального распространения определенного языка лежит расселение соответствующего этноса, его носителя. Причины, вызывающие переселения и расселения, могут быть разными, и далеко не всегда в их основе, особенно в начальный период развития этноса, лежит его экономическое благосостояние, связывающееся нередко, напротив, с определенной инертностью. Чаще внешние миграции стимулируются бедностью первоначально занятой территории, непрочностью, ненадежностью естественных границ. Если это сочетается с удобством расположения данной территории в качестве торгового, перевалочного пункта, подобное крупное преимущество может нейтрализовать и сделать, наоборот, положительными стимулами, определяющими необходимость и перспективность экспансии, те отрицательные моменты, которые этой территории свойственны – бедность природных ресурсов, отсутствие надежных естественных границ. Как показывает опыт истории, многие центры будущих процветающих и могущественных государств и соответственно культурных центров сложились именно в подобных условиях – Афины в Греции; Рим как центр Лациума, расположенного в центре Италии, в свою очередь естественного центра Средиземноморья; торговый центр Аравийского полуострова Медина рядом с расположенным поблизости религиозным центром Меккой как исходные пункты экспансии арабов; Константинополь, центр Византии, у проливов, связывающих Европу и Азию; Лондон как торговый центр Англии, затем Британской империи; Киев в Киевской Руси на «пути из варяг в греки»; Москва, расположенная в Средней России, у истоков рек, связывающих ее с пятью морями – Балтийским, Белым, Черным, Азовским, Каспийским и т.п. Удобное расположение определенной местности в качестве торгово-экономического центра способствовало тому, что народ, населявший ее, значительно быстрее, чем окружающие народы, развивал свою материальную и духовную культуру. Это дава-

ло ему по сравнению с ними не только военное превосходство, но, что значительно важнее, также политическое, экономическое и культурное. Таким образом, возрастала и становилась относительно большей ценность языка метрополии по сравнению с языками смежных стран, впоследствии провинций соответствующего государства. Эта относительно более высокая ценность языка, получившего тенденцию к распространению, вытекала из того, что он превращался в орган более высокой по отношению к провинциальным языкам культуры. Если это превосходство, однако, было небольшим, частичным и даже во многом спорным, языки завоеванных стран успешно выдерживали конкуренцию с языком метрополии. Известно, что латинский язык, вытеснивший в западной части империи за более или менее длительный (или короткий) период такие языки, как иберский, галльский, оскский, умбрский, этрусский, ретский, дако-мизийский, тем не менее не смог вытеснить греческий, представляющий высокую цивилизацию, которая не только не уступала римской с ее органом, латинским языком, но в некоторых моментах едва ли ее не превосходила. Очевидно, иногда сохранению языков могла способствовать и значительная природная, географическая замкнутость определенных территорий. Так, видимо, обстояло с сохранением баскского языка, пережившего Западную Римскую империю и дожившего до наших дней, или с албанским, единственным палеобалканским индоевропейским языком, сохранившимся на Балканах и устоявшим перед натиском как эллинизации и романизации, так и позднейшей славянизации.

Таким образом, вытеснение одного языка другим становится возможным только тогда, когда между обществами, пользующимися двумя языками и оказавшимися в силу экспансии одного из них на общей государственной территории, существует слишком большое и устойчивое расхождение в их развитии, причем уровень развитости (политической, экономической, культурной) одного из них значительно превышает уровень другого, создавая целый ряд преимуществ для тех, кто, пользуясь его языком, относится к нему. В целом, однако, смена языка зависит от ряда факторов,

которые редко выступают обособленно. Обычно смена языка является следствием совместного действия нескольких из них. Если факторов, вызывающих смену языка, мало или им со стороны языка, испытывающего воздействие экспансии другого, эффективно противостоит какой-либо из важных факторов, который в значительной степени нейтрализует это воздействие, смены языка может не произойти. В связи с этим нельзя не согласиться с мнением современного немецкого лингвиста (из ГДР) Карла-Хейнца Шенфельдера (Karl-Heinz Schönfelder), который, убедительно говоря о данных факторах, замечает следующее: «Вопрос, какой из двух языков одержит победу, а какой погибнет, зависит от определенных обстоятельств и от целого ряда факторов, которые мы должны тщательнейшим образом изучить. Недостаточно рассмотреть тот или иной фактор обособленно от всех остальных, так как в этом случае мы неизбежно приходим к ошибочным выводам... одностороннее рассмотрение того или иного фактора недостаточно, чтобы решить, почему смена языка произошла именно таким, а не каким-либо другим способом.

Важнейшими факторами, которые должны быть рассмотрены в их совокупности, являются следующие:

- 1) количественное отношение смешивающихся народов;
- 2) временная протяженность и интенсивность взаимного соприкосновения или проникновения;
- 3) военное и политическое превосходство одного из народов;
- 4) культурное превосходство одного из народов;
- 5) социальное положение лиц, относящихся к смешивающимся группам или народам;
- 6) факторы, касающиеся религии;
- 7) психические особенности смешивающихся народов;
- 8) географические и транспортно-технические факторы;
- 9) структура сталкивающихся языков» (Schönfelder, S. 46, 49).

Рассматривая историю языков с социолингвистической точки зрения, можно отметить в связи с вышеуказанным два пути их развития – 1) конструктивный и 2) де-

структивный. Конструктивный путь развития языка, связанный с экономическим, политическим, культурным подъемом общества, пользующегося определенным идиомом, ведет к неуклонному повышению последнего, к приобретению им статуса языка, превращению диалекта, на базе которого он развивается, в основу языковой литературной нормы. Деструктивный путь, связанный с экономическим, политическим, культурным упадком, застоем и отсталостью общества, пользующегося соответствующим идиомом, ведет, напротив, к деградации этого идиома, утрате им статуса языка, постепенному превращению его в совокупность все более отдаляющихся друг от друга говоров. Процесс деструкции языка не возникает сам по себе, а связан, как правило, с одновременным (и вызывающим его) процессом распространения на территории деградирующего языка другого языка, находящегося в состоянии конструкции. Таким образом, оба процесса начинают связываться друг с другом и со временем все больше друг на друга влиять. Если связь между двумя независимо развивающимися на разных территориях и только смежных друг с другом языками носит характер координации, – языки, взаимовлияя, находятся в примерно одинаковом социолингвистическом положении, и ни один не находится в состоянии подчиненности, зависимости от другого, – то в случае (потенциальной) ситуации вытеснения одного языка другим ей сопутствует и ее предопределяет положение субординации, т.е. подчинения, все большего и полного, одного языка другому. Подобное отношение между языками складывается тогда, когда в силу экстралингвистических обстоятельств один из них начинает приобретать все большую социолингвистическую ценность, а другой все больше эту ценность терять. Объясняется это сложным взаимодействием языка и общества, пользующегося тем или иным из языков. Процессы, определяющие превращение одноязычного населения в население, которое пользуется двумя языками, своим (первым) и вторым (чужим), а затем снова в одноязычное, но уже с другим родным языком, и первого из двух языков в субстрат второго, являются социальными.

Вместо двух этнических обществ (народов) с двумя культурами и языками возникает одно общество (народ) с одной культурой, выражением которой является один общий язык. Это вызывается тем, что превалирующее общество (общество А) становится центром консолидации, который все больше увеличивается, между тем как другое общество (общество В) подвергается параллельно распаду и количественно уменьшается. Оба процесса – социальный и языковой – идут параллельно. Привлеченные преимуществами общества А, в него переходят прежде всего высшие, а позже средние слои общества В, что находит свое выражение также в их окончательном (через стадию двуязычия) переходе на язык А. Общество А благодаря этому увеличивается, общество В становится рудиментом бывшего отдельного общества, поскольку из него выпадают высшие (ведущие) слои, переходящие в общество А. Это предопределяет социальную зависимость остатков общества В от общества А. В такую же зависимость от языка А попадает и язык В. Потеряв высшие социальные слои своих носителей, которые являются, как правило, носителями литературного (наддиалектного) языка, – что определяется их ведущей ролью в обществе, – язык В превращается в совокупность диалектов «без крыши»⁶, т.е. диалектов без собственного нормативного общенародного языка. Отсутствие собственного наддиалектного языка приводит, с одной стороны, к тому, что социально низшие по отношению к языку А диалекты языка В начинают распадаться на все более изолированные и отдаленные друг от друга говоры, а, с другой, к тому, что в «крышу» этих говоров превращается фактически социально высший по отношению к ним язык А, который становится для них субординирующим и начинает все больше подчинять их своему влиянию. Подобное социолингвистическое отношение возникает, как справедливо замечает А.Мартине, между любым общенародным (литературным) языком определенной страны и говорами без

⁶ Это образное выражение (нем. *dachlose Mundart*, англ. *roofless dialect*) заимствовано у немецкого исследователя Г.Клосса (Kloss, p. 304).

собственного литературного языка (или со слабо развитым и маловлиятельным литературным языком), даже независимо от степени генетической близости (напр., французский литературный язык – французские, провансальские, бретонские, баскские говоры) (Мартине, с. 507)⁷. Социолингвистическое отношение говоров неродственных языков к субординирующему литературному языку можно, по-видимому, сравнить при этом с отношением к литературному языку т. наз. «тайных языков», социалектов (арго), что оправдывается и тем, что носителями подобных говоров, как правило, являются только представители части низших классов и профессий (крестьяне, рыбаки, мелкие ремесленники и т.п.), между тем как средние и высшие слои, связанные происхождением с носителями говоров подобного языка, преимущественно этими говорами не пользуются. Именно исходя из этого, Б.Террачини считает субстрат, возникший в результате включения остатков субординированного языка в субординирующий, следствием положения, при котором субординированный язык вступает касательно субординирующего в отношении, напоминающее отношение диалекта к национальному языку: «Строго говоря, при субстрате уже не существует побежденного языка отдельно от языка-победителя, и оценка фактов первого с точки зрения системы последнего сводится к чисто стилистическому понятию «вульгаризма» (Террачини, с. 30–31).

Зависимость говоров языка В от языка А усиливается еще больше в связи с развитием двуязычия у остатка носителей первого. В последний период существова-

⁷ Этому не противоречит то обстоятельство, что на субстратный (точнее, субстратизирующийся) язык непосредственно могут влиять и его вытеснять не литературный субординирующий язык, а диалекты этого языка (Вайнрайх, с. 176–177), поскольку данные диалекты выступают в этом случае как представители социально более высокого языка (случай нижненемецких говоров по отношению к полабскому языку) или являются в определенной стране фактически функционирующим наддиалектным национальным разговорным языком (*Schwytzerdütsch* в Швейцарии), т.е. в сущности той же социально высшей языковой «крышей» (диалекты *Schwytzerdütsch* по отношению к ретороманским говорам).

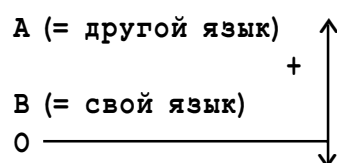
ния языка В двуязычие его носителей становится сплошным. Это ставит их уже не перед дилеммой перехода с одного (своего) языка на другой (чужой или малознакомый) язык, а перед выбором одного из двух своих языков как языка исключительного пользования, где, возможно, язык В даже уже хуже знаком, чем язык А. Таким языком со все большим основанием должен стать язык А, как не требующий двуязычия. Переход к его исключительному употреблению происходит тем проще, что к этому времени вследствие длительного взаимодействия обоих языков они значительно сближаются. С одной стороны, традиционный язык В многое (то ли в виде калек, то ли непосредственных заимствований) воспринимает из языка А, с другой – носители языка В (при участии также носителей языка А) переносят многое в язык А. Эти элементы традиционного местного языка во вновь усвоенном и становятся субстратными элементами (включениями) при окончательном переходе носителей языка В к исключительному употреблению языка А (и – соответственно – к полному отказу от употребления своего первого традиционного языка).

Указанный процесс является процессом параллельной деструкции языка В при конструкции языка А. Однако поскольку конструкция одного языка не идет независимо от деструкции другого, а тесно связана с ней и по крайней мере частично питается ею, конструкция языка А в этих условиях превращается фактически в большую или меньшую его реконструкцию, перестройку. Следствием этой перестройки (с формулой $b + A$, где b обозначает субстратный вклад языка В) является возникновение нового языкового образования A_1 ($b + A \geq A_1$). Ясно, что новое языковое образование $A_1 \neq B$, но так же уже и $A_1 \neq A$. От приобретения этим новым языковым образованием (A_1) независимого социолингвистического статуса зависит в дальнейшем, сможет ли оно стать отдельным языком или останется на положении зависимого от литературного языка диалекта, варианта литературного языка и т.п.

С социолингвистическими факторами, наиболее решающими в процессе постепенного угасания того или иного языка, тес-

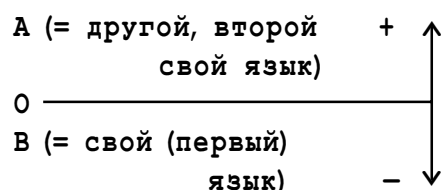
но связаны вытекающие из него психолингвистические моменты, которые впоследствии играют немалую роль в этом процессе. До тех пор пока носители того или иного языка признают за ним какую-то определенную ценность, пока они осознают себя определенным, отличным от носителей другого языка обществом, имеющим целый ряд своих особых хозяйственных, экономических, социальных, культурных задач, не совпадающих с задачами общества носителей другого языка, как правило, это способствует сохранению их языка, который является одной из наиболее ярких черт, выражающих эту специфику общества, пользующегося им, помогает сохранению единства соответствующего этно-языкового общества (соответственно племени, племенного союза, народности, нации). Упадок языка наступает тогда, когда общество одного языка (языка В) начинает полностью сливаться с обществом, пользующимся другим языком (языком А), начинает осознавать себя только частью общества А, имеющей абсолютно идентичные с ним цели и задачи. Эта психолингвистическая настроенность, вытекающая из социолингвистической ситуации, которая в свою очередь складывается как следствие целого ряда экономических, социальных, этно-культурных, политических и т.п. процессов, связана с вытекающей отсюда переориентацией носителей культуры и языка В на культуру и язык А. Ввиду этого в целом культура А и обслуживающий ее язык А начинает восприниматься как нечто более ценное, чем культура и язык В. Подобные переоценки того или иного языка происходят в истории человечества постоянно. Однако далеко не всегда стойкое увлечение тем или иным несвоим языком, а в связи с этим и оценкой его как более ценного или значительного, чем свой (ср. оценка римлянами греческого языка, носителями многих других европейских языков французского, японцами, корейцами и вьетнамцами китайского языка, персами арабского и т.д.), приводила к мысли о ненужности своего языка. Очевидно, в ситуации, ведущей к смене языка, степень расхождения в оценке вновь усваиваемого языка и своего первого традиционного должна быть намного больше,

чем в упомянутых перед тем случаях. Случай предсубстратной ситуации, ведущей к полной утрате первого языка, очевидно, есть основание определять как следствие полного кризиса утрачиваемого традиционного языка, его полного и осознаваемого все более широкими кругами его носителей банкротства. Таким образом, в случае координационной связи между языками даже при отрицательной оценке своего собственного языка по сравнению с другим подобная оценочная констатация носит чисто количественный характер, т.е. признается более низкий уровень своего языка по сравнению с другим, но свой язык все равно остается положительной величиной. Графически это можно передать так:



Следовательно, считается вполне желательным и возможным его совершенствование и поднятие до уровня другого более развитого языка (А). Ввиду этого, само относительное несовершенство собственного языка в глазах его носителей становится только стимулом для поднятия его уровня.

В случае, ведущем к отмиранию собственного первого языка и превращению его в субстрат другого, разрыв в оценке первого своего языка по сравнению с другим усваиваемым приобретает качественный характер, при котором социолингвистический уровень своего первого языка воспринимается как величина только отрицательная, лежащая ниже всякого допустимого уровня (и не сравнимая с уровнем языка А), что графически можно передать таким образом:



В подобном случае свой первый язык предстает как нечто абсолютно отрица-

тельное по сравнению со вторым языком, в связи с чем возникает чувство стыда, отвращения, неприязни к нему со стороны его традиционных носителей (или их потомков) при попытках пользования им в целом ряде ситуаций, круг которых неуклонно сужается. Ср. в связи с этим, например, оценку отношения к полабскому языку в последний период его существования при окончательном переходе к исключительно пользованию (ниже) немецким языком – «Вустровский пастор (Вустров – в Люховском окр.) Хр. Генниг (Hennig, 1649–1719), составитель полабского словаря, сообщает между прочим следующее о славянской речи своих прихожан: «В настоящее время здесь говорят по-вендски (т. е. по-полабски. – *О.Т.*) немногие старики, с молодежью они уже не говорят на этом языке, так как над этим стали бы смеяться. Молодежь же чувствует такое отвращение к родному языку, что не хочет не только учиться ему, но даже не хочет и слышать его звуки. Таким образом, через 20 или 30 лет этот язык исчезнет» (Селищев, 1941, с. 421). В принципе нечто подобное наблюдается и в случае исчезновения во второй половине XX в. небольших прибалтийско-финских языков, водского и ижорского, расположенных на территории Ленинградской области. Ср. замечание по этому поводу эстонского советского лингвиста Э.Эрнитса: «Теперь водь сохранилась только у финского залива в 4 деревнях с разнородным населением. По большей части к ней принадлежат трехязычные старики, которые говорят на водском, русском и ижорском языках, имея водский образ мышления. Поколение среднего возраста не имеет водского самосознания, рассматривая себя как русских или реже ижорцев, самые молодые – как русских. Люди среднего возраста говорят по-водски только дома, молодежь знает только русский язык, но некоторые из них могут понимать также водский или ижорский язык... Многие относятся с пренебрежением к водскому языку, который кажется им некрасивым и бесполезным.

Похожие тенденции наблюдаются также у ижорцев, хотя их численность больше (для 1979 г. в статье количество води определяется в 50 человек, ижорцев – в

700 человек. — О.Т.). Согласно принципам ленинской национальной политики в тридцатые годы были организованы для них школы с преподаванием на родном языке и создан литературный язык (на нем появилось более 20 книг), но было уже слишком поздно: национальное самосознание ижорцев с неизбежностью заметно снизилось. Они стали считать, что численность их народа слишком невелика, чтобы был нужен ижорский язык. В этом году мы сами слышали, как сын среднего возраста укорял мать за то, что она заговорила случайно на ижорском языке. Однако до сих пор живут старушки, которые владеют всем богатством оттенков родного языка и любят петь на нем прекрасные ижорские народные песни» (Ernits, p. 14-15).

Следует сразу же заметить, что подобное или близкое к нему социо- и психолингвистическое состояние наблюдается не только в ситуации, предшествующей полному исчезновению языка. Более или менее значительные периоды упадка с соответствующими очень близкими к отмеченным настроениями и весьма мрачными «прогнозами» в отношении будущего языка выступали и по отношению к тем языкам, которые в настоящее время, преодолев глубокий кризис, вполне успешно живут и развиваются (чешский язык в XVIII — нач. XIX в., литовский в XIX — нач. XX в. и т.п.). Очевидно, поэтому нет абсолютной границы между ситуацией, связанной с частичным и временным упадком языка, и положением, приводящим к его необратимому угасанию. Ввиду этого следует принять как необходимое уточнение к понятию субстрата и то положение, что субстрат как необратимое явление возникает только в своей абсолютной форме, т.е. только после того, как язык В полностью вытеснен языком А, войдя в него в виде субстратных включений⁸.

⁸ Необходимо, однако, оговориться, что подобная необратимость в случае вытеснения одного языка (В) другим языком (А) возникает только в том случае, когда вытесненный язык не оставляет после себя никаких письменных памятников. Если письменные фиксации достаточно значительны, чтобы вытесненный язык при желании мог быть воспроизведен, в принципе возможны более или менее удачные попытки его использовать (эпизодически или постоянно)

Появлению подобного абсолютного и полного субстрата, качественному переходу («скачку») предшествует постепенное накопление количественных элементов. Можно в связи с этим, по-видимому, говорить об индивидуальном⁹, групповом, массовом, частичном субстрате, т.е. остатках языка В в речи на языке А при полном переходе от одного языка на другой у отдельных индивидуумов, групп населения, их масс, части определенного этноса, перед тем как данный этнос полностью перейдет с одного языка на другой и остатки первого языка во втором при окончательной смене языка станут полным субстратом.

При подобном положении, когда со временем образуется социо- и психолингвистическая ситуация, при которой автохтонное население все более стремится полностью отказаться от своего собственного первого языка и полностью перейти на второй, казалось бы, от первого языка ничего не должно остаться. Однако подобного явления почти никогда не происходит. В этом случае, особенно, когда на новый язык переходит большой по количеству этнос, его язык не исчезает бесследно, а как бы растворяется в новом языке, включаясь в него в своих сохранившихся бессознательно или сохранных сознательно элементах, поскольку у социолингвистического процесса смены языка есть две стороны. Из них в основном была рассмотрена только одна — усвоение нового языка и подход к первому языку исключительно с этой точки зрения. Учитывая, однако, взаимодействие языков при их смене, нельзя не считаться и с тем

даже после полного его вытеснения и субстратизации, ср. довольно успешные попытки использовать в качестве письменного и устного корнский язык в Корнуэльсе (Великобритания) в XX в. после его полного исчезновения в XVIII в.; выступление на полабском языке немецкого слависта Олеша на VI Международном съезде славистов в Варшаве (1968 г.) и под. факты.

⁹ О случае индивидуального субстрата в своей речи (или скорее близком к нему, поскольку данное лицо сохранило знание первого языка и способность его употреблять) говорит, в сущности, В.И.Абаев в применении к элементам осетинского языка, включенным в его русский язык (Абаев, 1956, с. 66).

воздействием, которое оказывает первый язык на второй. Это воздействие связано с тем, что при усвоении нового языка, которому, как правило, предшествует более или менее длительный период двуязычия, второй язык усваивают, исходя из первого, опираясь на него, невольно в какой-то степени приспособлявая второй язык к первому. Нельзя не учитывать и того, что взаимодействие языков – это взаимодействие двух культур, выражаемых с их помощью, и что отказ от первой традиционной культуры никогда не может быть полным, а это не может не отражаться и на языке как форме выражения культуры. На этом необходимо остановиться более подробно.

Выше в примере, касающемся ижорского языка, отмечалось, что при том, что в целом происходит полный переход с ижорского на русский язык (у младшего поколения) и тяготение к нему (у среднего), сохраняются еще люди старшего поколения, знающие его во всем богатстве оттенков. Таким образом, социолингвистический упадок языка, как и психолингвистическая установка у подавляющего большинства его носителей, как бы санкционирующие полный отказ от первого (традиционного) языка и переход на второй, не связаны с таким же чисто лингвистическим его упадком. В мире известен целый ряд языков, испытавших значительное воздействие других языков и, в частности, изобилующих лексикой иноязычного происхождения (английский, румынский, персидский, японский), которые тем не менее не только не пришли в упадок, а, напротив, имеют очень высокий социолингвистический статус. Следовательно, упадок языка не связан (во всяком случае, прямо) с упадком его чисто внутренним, структурным. Как правило, от языка отказываются не по частям, как бы постепенно заменяя одну его часть за другой иноязычными частями, а полностью. Однако отказ от языка как средства и формы общения не означает полного отказа от того содержания, которое он в себе несет, связанного с предшествующей культурой, и поскольку переход с языка на язык, их смена связаны со взаимодействием двух культур, этот переход никогда не может быть равнозначен полному отказу от все-

го, что связано с предшествующим языком. В силу этого при взаимодействии двух языков, заканчивающимся победой одного из них, в конечном счете возникает своеобразный компромисс. Язык-победитель дает для создания нового идиома вновь возникшего этнического общества основы своей фонетики, грамматики и лексики. Победенный язык, главным образом, дает для него свои наиболее общие фонетические тенденции, проявляющиеся в наибольшей степени в вокализме и ритмомелодике (т. наз. акцент), значительную часть своих семантических схем и моделей (в грамматике, фразеологии и лексике), а также большую или меньшую часть своей наиболее интимной и распространенной лексики, сохраняющейся лучше всего при изолированном положении идиома и хуже при его тесных связях с языками, родственными с новым (вторым) языком или его предшествующей традицией. Эти элементы, наиболее типичные для субстрата, проникают в язык-победитель по двум тесно взаимосвязанным причинам: во-первых, как следствие его массового и прямого усвоения, не дающего возможности овладеть во всех тонкостях фонетикой и семантикой, которые наименее контролируются сознанием, во-вторых, как следствие необходимости в усвоении новым языком местных особенностей материальной и духовной культуры, отображенных местным языком, которые связаны с особенностями жизни данной страны и поэтому представляют собой значительную ценность. Переход местного населения на новый язык не равнозначен вместе с тем безоговорочному переходу на новую неместную культуру, принесенную с новым языком, и полному отречению от своей старой традиционной культуры. Наряду с тем ценным, что несет новая культура, местное население желает сохранить и наиболее ценное из своей традиционной культуры. Это наиболее ценное переводится, как правило, на новый язык, причем не только в связи с привязанностью к нему местного населения, а также интересом пришлого, носителя нового для данной местности языка. Исходя из указанного, местные языки, за исключением случая быстрого и полного физического истребления

местного населения, – случая не такого уж частого, – не могли бесследно устраняться новыми языками. Значительно достовернее считать, что они в них растворялись. При переводе (или пересказе) на языке-победителя того из традиции предыдущей местной культуры, созданной на местном (вытесняемом) языке, что могло представлять ценность, – а подобных вещей могло быть довольно много (напр., из прикладных хозяйственных знаний – разнообразные приметы, наблюдения над местной природой, местные обычаи, а из духовной культуры – разные фольклорные произведения, определенные устойчивые языковые формулы и под.), – бесспорно, многое могло подсознательно или сознательно калькироваться, переноса в новой языковой оболочке внутреннюю форму местного языка. Поскольку «переводчиками» было преимущественно местное двуязычное население, для которого семантика его традиционного первого языка была вполне обычной, у него не возникало желание ее «корректировать» согласно особенностям нового языка, тем более, что многое могло просто не поддаваться передаче в строгих формах нового языка, требуя дословности. Усвоение же местного музыкального фольклора, музыкальный ритм которого всегда тесно связан с ритмомелодикой устного, немusicalного языка¹⁰, – усвоение, заключавшееся в переводе (более или менее свободном) местного словесного фольклора на новый язык или в создании новых песен на старые местные мелодии, должно было способствовать закреплению в новом языке данной местности фонетических (ритмомелодических) особенностей вытесненного (субстратного) языка. Со временем эти ритмомелодические особенности не могли не содействовать дальнейшей фонетической перестройке нового местного языка.

Сочетание фактора несовершенства усвоения нового языка местным населением с важным фактором потребности в усвоении местной культуры, которая это несовершенство в значительной степени под-

¹⁰ Об этой связи пишет и необходимость ее изучения отмечает в своей интересной статье Б.М.Задорожный (см.: Задорожный, 1953, с. 107-116).

держивает (сюда еще можно добавить необходимость в быстром и массовом овладении новым языком, значительно более важным, чем старательное, но медленное его усвоение), приводит к тому, что все нормализаторские усилия, направленные на полную унификацию нового языка этого населения, не могут никогда осуществиться в полном объеме. При дилемме – безупречное усвоение нового языка путем полного искоренения любых местных традиций (а только так этого и можно достичь) или не вполне совершенное его усвоение (которое все же дает возможность свободно общаться с его традиционными носителями) – всегда фактически выбирается последнее. Это объясняется тем, что в языке как в средстве прежде всего общения и информации значительно важнее не как, а что с его помощью будет сообщено или передано. Таким образом, распространение определенного языка на новых, занятых иноязычным населением территориях должно невольно связываться с использованием и усвоением местных культурных традиций (имеем в виду как материальную, так и духовную культуру), причем в восприятии их заинтересованы как представители этнического общества, от которого воспринимается новый язык, так и общества, которое на этот язык переходит. Следовательно, слияние двух этнических обществ в одно вместе с тем, как правило, является и слиянием двух культур и двух языков. Какой из этих двух языков выступает как основа слияния, а какой становится тем языковым элементом, который растворяется в другом языке, зависит от конкретных исторических обстоятельств. Однако не подлежит сомнению то, что процесс слияния местного языка с пришлым языком при возникновении между ними стойкого отношения субординации с перевесом со стороны последнего бывает правилом, а отсутствие этого влияния является исключением (разумеется, субстратный вклад может иметь разный удельный вес в каждом конкретном случае). Таким образом, здесь возникает особый диалект распространившегося за пределы своей исходной этнической территории языка (упомянутая формула $b + A \geq A_1$), который при благоприят-

ных условиях, главным образом при преобладании центробежных тенденций над центростремительными, может превратиться со временем в отдельный язык.

При выработке подобного отдельного языка, безусловно, важный вклад вносится предыдущей языковой традицией соответствующей местности, которая придает особое направление его развитию, отличающееся от предшествующего развития того языка, который распространился здесь позже. Можно считать, что этот новый отдельный язык является фактически наследником двух языков – как языка, материальные черты которого он в основном унаследовал и продолжает, так и того языка, который в определенном (большем или меньшем) количестве своих элементов, в виде субстрата, т.е. пережитков субординированного языка, влился в этот язык, вызвав его специфическую перестройку и своеобразие дальнейшего развития. Из этих двух линий наследственности первая является основой для определения принадлежности данного языка к определенной языковой семье (группе), вторая, связанная с языком другой генетической принадлежности, становится определяющей для него как отдельного языка этой семьи (группы), т.е. характеризует в наибольшей степени его языковую индивидуальность, специфику на фоне других языков той же языковой семьи или группы.

Следовательно, вопрос угасания, исчезновения языков диалектически сложен, так как, приводя к исчезновению одних языков, он, с другой стороны, очень часто является отправным пунктом для зарождения новых языков, толчком для которых служит свертывание исчезающих языков в своих пережиточных элементах в субстрат, входящий в состав языка-преемника. Затем этот субстрат, т.е. остатки исчезнувшего языка, становится как бы ферментом, зародышем в недрах языка-преемника для того, чтобы вместе с ним породить новую лингвистическую индивидуальность, новый язык, имеющий, в сущности, двух родителей, две линии родства, основную генетическую и субстратную.

Сложные социолингвистические процессы, происходящие главным образом параллельно, – с одной стороны, угасание одного языка,

вытесняемого другим, с другой же, включение оставляемого им субстрата в язык-победитель и тем самым его постепенное преобразование в новый, более или менее отличающийся от исходного идиом, – в будущем нередко новый язык, – взаимосвязаны друг с другом, представляя собой в целом чрезвычайно многогранное явление. На некоторых, еще не рассмотренных, его сторонах стоит остановиться отдельно.

Прежде всего заслуживают внимания процесс постепенного отмирания первого (местного) языка, результаты этого процесса, его специфика. Отмирание первого местного языка, вытесняемого вторым языком, занесенным в определенную местность извне, происходит через стадию двуязычия. Характерной особенностью этого двуязычия, коль скоро первый местный язык оказывается по отношению к пришлому языку в положении субординации, является то, что это, как правило, в особенности на продвинутой его стадии, двуязычие местного населения, носителей местного языка, пришлое же население преимущественно не пользуется местным языком и часто даже его вообще не знает. В первоначальный период, когда язык пришельцев не получил достаточного распространения и их количество является небольшим, может существовать двуязычие также пришлого населения. Впоследствии, когда количество пришлого населения все увеличивается и обнаруживается его качественный перевес, все большее количество туземного населения и все удовлетворительней начинает параллельно с собственным для общения между собой употреблять в общении с пришельцами их язык. Это делает для последних все менее нужным усвоение языка туземцев в целом, из него усваиваются только отдельные элементы, которые могут попадать в язык пришельцев от двуязычных туземцев в их втором языке. Таким образом, происходит первое ограничение двуязычия, оно становится в основном принадлежностью только автохтонов, говорящих отныне как на своем родном языке, так и на языке пришельцев. Однако двуязычие и у автохтонов не является универсальным и совершенно уравновешенным, т.е. языки свой и вновь усвоенный не упот-

ребляются в одинаковой степени во всех функциях и областях, например, язык пришельцев используется в функции официально-деловой, зато язык автохтонов широко используется в производственной сфере, связанной с местным сельским хозяйством и промыслами. Профессиональная ориентация того или другого языка обуславливает их социальную приуроченность. Поскольку в официально-деловой сфере употребляется язык пришельцев, местная знать, стремясь сохранить свои позиции, должна им овладеть и пользоваться. Связь с пришлой знатью, необходимость контактов на семейно-бытовом уровне, смешанные браки, стремление с детства научить детей свободно и правильно пользоваться языком пришельцев ведут к тому, что у местных социальных верхов со временем местный язык отходит на задний план и как семейно-бытовой, сохраняясь разве как средство общения со слугами или крестьянами. Тем из местной знати, кто не овладевает вторым, субординирующим, языком, грозит участь быть оттертым от власти и постепенно деклассироваться. Крестьяне как менее связанные с официально-деловой сферой, напротив, тяготеют к длительному сохранению местного языка. Средние городские слои, в частности купцы и ремесленники, тяготеют к двуязычию. Причем те, кто стремится подняться выше по социальной лестнице, приобрести более богатую и выгодную клиентуру из пришлой и местной ассимилированной знати, со временем также вынуждены переориентироваться на неместный язык как основной. Их туземный язык отступает на второй план, так как они употребляют его при общении с социально низшими слоями местного населения, оставшимися неассимилированными в этно-языковом отношении. Так постепенно двуязычие становится все более резко социально очерченным. Одновременно идет и его сужение. Поскольку во все большей степени двуязычие охватывает средние и даже низшие слои (дольше всего оно не касается женщин, связанных только со своим узким домашним хозяйством), все в меньшей степени нуждаются в знании местного языка те, кто овладел полностью вторым неместным, субординирующим язы-

ком. С другой стороны, двуязычие начинает проникать даже в разговорно-бытовое общение семьи, потому что всеобщее усвоение второго языка делается насущной необходимостью для всех, а знание первого местного языка все более факультативным, что вынуждает родителей не обучать ему детей, а одноязычных стариков овладевать вторым, неместным языком, чтобы понимать своих внуков. Так постепенно двуязычие, а вместе с ним и знание автохтонного языка становится уделом все более узкого круга лиц, со смертью которых устанавливается новое одноязычие, поголовное знание только первоначально второго для данной местности языка.

Так происходит смена языка в связи с развитием двуязычия и его функциональной (профессиональной) и социальной (общественной) ориентацией.

Спецификой смены языка является и то, что она носит преимущественно не внутрilingвистический, а социолингвистический характер. Языки только отчасти способны к взаимопроникновению. Неместный язык противится этому не только в силу языковой специфики вообще (слабая проницаемость грамматики, основного лексического фонда, стойкость фонетики и в особенности фонологии), но также и потому, что чрезмерное проникновение в него автохтонных языковых элементов (даже при пользовании им туземцами) могло бы сделать его непонятным для основных носителей, превратить из средства общения в способ разобщения. Поэтому в большем количестве заимствованиями из пришлого языка насыщается язык автохтонный, тем более с развитием двуязычия. Однако и здесь насыщение заимствованиями далеко не безгранично: фактически остается незыблемой в своих основах грамматика (здесь возможно отчасти только калькирование), малопроницаемо основное ядро лексики, с трудом поддается перестройке фонетическая система. Таким образом, при самом большом давлении на язык со стороны другого языка он до конца своего существования остается нерушимым в своих основах, этому препятствует как сугубо лингвистическая природа языка, так и его общественная функция быть средством общения.

Наиболее частотные элементы языка, находящиеся все время в работе, не поддаются замене. Поэтому смена языка происходит не путем постепенной замены всех его элементов, не путем постепенного изменения природы языка, а путем замены одного языка другим в целом, хотя, разумеется, в определенной связи с этим находится и функциональное сужение в пользовании языком, его невольное лексическое обеднение в тех областях деятельности, в которых он фактически не применяется. Однако все же не оно является основной причиной постепенного отказа от пользования местным, отмирающим языком. Основным поводом для этого служит то, что в определенных функциях (в администрации, школе, армии и т.п.) данным языком перестают пользоваться, поскольку их обслуживает другой язык. Язык туземцев в этих случаях насыщается большим количеством иноязычной лексики, так как, передавая свои действия или мысли в соответствующей сфере, они невольно должны прибегать к словам чужого языка, которым они в данной сфере пользовались, подключая к ним только свою грамматику, основную (близкую к строевым элементам) лексику и одевая иноязычные элементы в оболочку своей же фонетики. Отчасти, если язык имеет слабые устои (социальные, государственно-политические, экономические), это может создавать у туземцев определенный «комплекс неполноценности» ввиду того, что носители других языков, прежде всего второго (субординирующего или тяготеющего к этой роли), могут обыгрывать этот момент, рассматривая его как аргумент против использования местного языка в данной функции, ибо местный язык не может обойтись в ней без лексики второго языка. Однако на примере общепризнанного в качестве мирового английского языка, где в сфере научной и административно-официальной наличествует большой процент исходно романской лексики, отражающей подобное же функциональное двуязычие, мы видим, что эта гетеролексичность языка нисколько не препятствует как его функционированию, так и высокому и общепризнанному авторитету. Основным препятствием для существования языка служат неблагоприятные социолингвистические обстоя-

тельства и связанная с ними социолингвистическая его оценка и соответственно психолингвистическое его восприятие. Вытеснение того или иного языка идет по линии: 1) сужения его функций; 2) увеличения числа двуязычных лиц из числа его носителей на переходном этапе от одного одноязычия (употребления только первого местного языка) к другому одноязычию (употреблению второго занесенного извне языка); 3) сужения круга двуязычных лиц при параллельном увеличении числа носителей одноязычия на новой основе – на втором языке; 4) сужения на следующем этапе круга знающих местный отмирающий язык по возрасту (старшее – среднее – младшее поколение → старшее – среднее → старшее поколение) и полуносителей языка (мужчины и женщины старшего поколения → женщины старшего поколения). Последнее объясняется двумя причинами – биологической (большая стойкость женского организма, позволяющая, как правило, женщине пережить мужчину) и социальной (меньшая подвижность женщин, особенно в прошлом, их большая связь с домом, семьей, родом, их традициями, в том числе и языковыми). Поэтому в качестве последних носителей того или иного языка, последних представителей того или иного этноса чаще всего называют женщин: корнский язык (Долли Пентрет), тасманийский язык (Труганини), камасинский язык (К.З.Плотникова).

Постепенно в ходе своего взаимодействия со все более и более распространяющимся вторым языком (языком А) местный язык (язык В), вытесняемый пришлым языком, все менее остается существовать в своем чистом виде и все более сохраняется только в виде своих пережитков, включенных в язык, секундарно распространившийся на данной территории. Со временем, когда первый местный язык полностью выходит из употребления, он продолжает существовать только в своих пережитках, включенных так или иначе в систему вторичного для данной местности языка (А). Пережитки субстратного языка входят: 1) в местную ономастику (прежде всего топонимы); 2) в диалекты данной местности, продолжающие идиом пришлого населения (в наименьшей степени); 3) в диа-

лекты, возникшие на основе второго языка постсубстратного населения (в большей степени); 4) в т. наз. «тайные языки», возникающие на основе того, что субстратный язык дольше всего держится у представителей определенных профессий, например рыбаков (наибольшая степень включения субстратных элементов). На последнем стоит специально остановиться. «Тайные языки» начинают, по-видимому, возникать в последний период существования субстратного языка. Их целью является стремление сохранить хотя бы отчасти свой язык как удобное средство скрывать свои мысли от посторонних лиц. Вначале эту функцию выполняет первый язык в целом. Таким образом, в этот период в двуязычной профессиональной группе населения существует два языка с двумя отдельными грамматиками и два отдельными лексиками. Затем, когда переходят на один язык с одной грамматикой, пережиточно, как удобное средство отмежевания своей группы от остального общества носителей второго для данной местности языка, сохраняется обычай употреблять уже на одной (исходно вторичной) грамматической основе особенно насыщенный субстратной лексикой вариант (исходно) второго языка. Так как слова субстратного языка, однако, все более забываются, со временем их заменяют другими заимствованиями или искаженными формами исходно второго, теперь единственного, для данной местности языка. Не исключено, что отчасти такого происхождения по крайней мере некоторые из «тайных языков» Центральной России, которые ввиду того, что в них встречается целый ряд (пост)мерянских слов, могли продолжать вначале субстратный финно-угорский мерянский язык. С утратой знания грамматики и значительной части своей (и именно основной) лексики, которая наступает после смены языка, и включением фонетических, грамматических, лексических, фразеологических пережитков субстрата (последних трех также в калькированном виде) в ткань второго языка они все менее ощущаются как инородные (сознание их происхождения утрачивается), воспринимаясь как его диалектизмы (арготизмы, вульгаризмы и под.). Если субстратный язык не

имел (или утратил) письменные памятники, выделить его элементы во втором языке, языке-преемнике, чрезвычайно трудно, так как они, в сущности, полностью сливаются с элементами исходно вторичными; их можно выделить только с помощью применения сопоставительно-исторического метода, являющегося сочетанием двух других – сопоставительно-типологического и сравнительно-исторического.

Пока речь шла об одной стороне социолингвистического процесса вытеснения пришлым языком автохтонного языка, – судьбах этого последнего, вплоть до его полного исчезновения как языка и растворения в своих пережитках в языке-преемнике, вторичном для данной территории.

Следует в общих чертах рассмотреть также особенности формирования нового идиома A_1 , возникшего в результате включения языком-победителем A субстратных остатков b , сохранившихся после окончательного исчезновения языка B ($b + A \geq A_1$). Дальнейшие социолингвистические обстоятельства вызывают либо сохранение нового идиома A_1 как диалекта языка A , либо приобретение им положения нового отдельного языка A_1 , родственного языку A . До исчезновения субстратного языка B именно он рассматривается как местный язык, языковой представитель местной культурной традиции. По мере его исчезновения эту роль все больше принимает на себя идиом (язык) A_1 . Этому способствует, в частности, то, что $A_1 \neq A$, поскольку в отличие от последнего, образовавшегося на своей исходной территории, идиом A_1 , образовавшийся путем соединения $b + A$, имеет чисто местные черты, обусловленные включением субстрата, т.е. пережитков местного языка B . Вначале носители языка A , в особенности те, которые не живут в местности B , относятся к новому идиому A_1 , возникшему в провинциальной местности, вторично занятой языком A , как к «испорченному влиянием языка B », «вульгарному», «неправильному», «простонародному». Таким было, например, отношение к местной народной латыни в западных романизованных провинциях Римской империи со стороны коренных римлян, владевших безупречно классическим языком. Недаром ме-

стные особенности сперва рассматривались только как ошибки, погрешности по отношению к классической книжно-литературной латыни. Затем, если на основе местного провинциального идиома, родственного литературному языку метрополии, складывается отдельный литературный язык, отношение к нему в корне меняется. Его воспринимают как местный национальный язык, в связи с чем фактически и традиции местного патриотизма, местной культуры, которая уже рассматривается не как провинциальная, а как особая, самодовлеющая, возрождаются, хотя уже на новой языковой основе. Таким образом, новая местная языковая традиция, новый язык трактуются уже вполне положительно. Вместе с тем, если раньше этот местный идиом рассматривался в качестве диалекта или «испорченного» варианта языка метрополии, то теперь уже в качестве отдельного языка он становится общим достоянием не только местных низов, но и знати, и прежде всего именно хорошее знание его литературной нормы становится социально престижным. Напротив, знание и практическое использование прежнего классического языка (в ущерб новому местному языку) со временем начинает восприниматься не без оттенка иронии как признак чрезмерной педантической учености (ср., например, отношение к латыни после признания во Франции французского в качестве особого языка, а не ее народной («вульгарной») разновидности).

До некоторой степени это отношение к латыни в романских странах, когда в них начался расцвет собственных национальных языков, сопоставимо с отношением к любому литературно-книжному языку в последний период его существования или активного функционирования, например, к староукраинскому, в ряде стилей включавшему в себя к тому же многочисленные старославянизмы. Этот язык, обладавший в прошлом достаточно высоким авторитетом, о чем свидетельствует его кодификация в грамматиках и словарях, к концу XVIII – началу XIX в., времени окончательного утверждения в качестве литературного украинского языка на народной (разговорной и фольклорной) основе, стал восприниматься как окончательно обветшавший,

старомодный. В связи с этим литературные персонажи, тяготеющие к его употреблению, особенно в быту, представляются в этой своей особенности как комические, а их пародируемый язык на фоне современной украинской речи других действующих лиц явно высмеивается. Ср. отрывки из партий подобных действующих лиц – Возного (из пьесы И.П.Котляревского «Наталка-Полтавка») и писаря Прокопа Ригоровича Пистряка (из повести Г.Ф.Квитки-Основьяненко «Котопська відьма»): 1) «Бачив я многих – і ліпообразних, і багатих, но серце мое не імієть – тее-то як його – к ним поползновенія. Ти одна заложила йому позов на вічні роки, і душа моя ежечасно волаєть тебе і послі нишпорной даже години»; 2) «Хворостина сія хоча єсть і хворостина, но она не суть уже хворостина, понеже убо суть на ній вмістилище душ козацьких прехваброї сотні Конопотської, за ненахожденієм писательного существа і трепетанієм десниці і купно шуйці». В связи с этим и языковая практика Г.С.Сковороды, представлявшая, по справедливому замечанию В.М.Русановского, попытку создать некий общевосточнославянский язык, исходя при этом из староукраинской традиции, и была в целом неизбежно обречена на неудачу (Русанівський, с. 152, 165)¹¹. Помимо сформировавшегося к этому времени в сво-

¹¹ Характерно, что в литературно-языковом отношении из произведений Г.С.Сковороды наиболее долговечными оказались именно те, которые в наибольшей степени выходили за рамки староукраинской языковой традиции, приближаясь больше всего к современному ему народно-песенному языку (ср. в особенности прелестное стихотворение «Ой ты, птичко жолтобоко...» из сборника «Сад божественных пѣсней», требующее минимальных корректив, чтобы звучать как стихотворение на современном украинском языке). Следовательно, уже в творчестве Г.С.Сковороды, знаменовавшем окончательный закат староукраинской языковой традиции, забрезжили первые проблески неотвратимой будущей победы нового украинского языка на народной основе. Упомянутое стихотворение замечательно как изяществом формы и чистотой народного языка, так и глубиной и серьезностью содержания. В нем через голову бурлескной «Енеїди» Сковорода фактически подает руку украинским поэтам-романтикам и даже Шевченко, который недаром еще в детстве увлекался творчеством Г.С.Сковороды и учился у него как поэт.

их основах русского литературного языка, был уже близок к возникновению и (ново)-украинский литературный язык на народной основе. Несколько позже появились и первые произведения на современном белорусском языке (анонимная поэма «Энеїда навыварат», возникающая под влиянием «Енеїди» И.П.Котляревского, – «Тарас на Парнасе», замечательное стихотворение-песня талантливого народного поэта П.Багрыма «Зайграй, зайграй, хлопча малы», произведения Я.Чечота, друга А.Мицкевича). Таким образом, каждый писатель, находившийся к этому времени в кругу восточнославянских культур, должен был уже выбирать один из этих трех обслуживающих их языков. Четвертого, «общевосточнославянского», уже не было дано.

Характерна в социолингвистическом отношении не только трансформация, пережитая бывшими местными народно-разговорными вариантами латыни с превращением их в романских странах в отдельные романские языки, а и изменение в восприятии литературного датского с копенгагенским произношением в городах Норвегии после превращения в норвежский язык (риксмол) того же датского с норвежским субстратом (в частности, норвегизированной фонетикой). Как полагают, именно на этой основе сложился один из двух (причем наиболее распространенный) литературных языков Норвегии¹². Следовательно, социолингвистическое положение старого языка-победителя с вытеснением его местным литературным языком, возникшим на основе этого когда-то победившего здесь языка, меняется, а вместе с тем меняется и его психолингвистическое восприятие. Этот язык в случае его архаизации (пример латыни) начинает восприниматься как нечто вызывающее почтение в историческом плане, но в то же время и как что-то безнадежно устаревшее, старомодное, отжившее (в сущности, это отношение в чем-

¹² Ср.: «Предполагается, что зародышем смешанного городского говора было чтение датского текста с подстановкой норвежских фонетических особенностей... В XVIII в. в Осло, крупнейшем норвежском городе, по-видимому, уже говорили на смешанном говоре, основанном на датском письменном языке, но с норвежской фонетикой» (Стеблин-Каменский, с. 74–75).

то напоминает собой, видимо, отношение к субстратному языку в момент его угасания). Если язык-победитель (например, датский по отношению к риксмолу) продолжает существовать в качестве живого современного языка в соседней стране, по отношению к местному языку он воспринимается как язык близкий, но иностранный, неродной, что вытекает из целого ряда их расхождений на всех уровнях, прежде всего фонетическом, а это побуждает носителей нового литературного языка обратить самое серьезное внимание на его специфику, которой ранее пренебрегали или стыдились, считая ее «провинциальной»¹³. Следовательно, даже переход на новый язык далеко не всегда равнозначен полному прекращению местной культурной традиции. Если определенная территория настолько своеобразна в своей географической, хозяйственно-экономической и культурной специфике, что это становится причиной ее постоянного выделения в особый региональный комплекс, то местная традиция даже при смене языка не прерывается полностью, а продолжается, только на новой языковой основе. На земном шаре, по-видимому, нет территории, где бы местное население через больший или меньший промежуток времени ни разу не меняло свой язык. В некоторых местах подобные смены происходили, очевидно, несколько раз. Языкознание без помощи других наук, как уже отмечалось выше, не в состоянии полностью решить вопрос о причине сменяемости языков, их большей или меньшей стойкости, поскольку сюда входит слишком много предположений, где, кстати, сугубо языковые причины находятся на самом последнем месте. Как видно было из предыдущего, – об этом говорит и весь опыт изучения языков, –

¹³ Ср. в связи с этим следующую характерную особенность в развитии норвежского литературного языка (риксмола): «Борьба за норвежское произношение на театральной сцене разгорелась в пятидесятых годах XIX в. До этого ... в норвежском театре играли исключительно актеры-датчане и господствовало датское произношение. В 1852 г. в Кристиании открылась «Норвежская драматическая школа», поставившая себе целью воспитать актеров для национальной сцены. Н.Кнудсен был приглашен в эту школу для обучения ее воспитанников норвежскому произношению» (Стеблин-Каменский, с. 80).

языки действительно отличаются необыкновенной стойкостью своей структуры, однако это не мешает тому обстоятельству, что время от времени тот или иной из них постепенно перестает употребляться. Поэтому есть все основания считать, что «болезнь» и «смерть» языка – это всегда только болезнь и смерть общества, пользовавшегося определенным языком, вызванная каким-либо его несовершенством (рядом несовершенств) по сравнению с обществом, способным не только сохранять и развивать свой язык, но и распространить его за пределы своей исходной этно-языковой территории. Проблема стойкости (слабости)

этносов, из которой вытекает и стойкость (слабость) принадлежащих им языков, во всем своем объеме не может быть решена одними лингвистами, а только совместными усилиями представителей всех общественных наук, куда свой вклад должны внести и лингвисты. Проблема языкового субстрата, его теория, является только частью этой более широкой проблемы. Основным интересом этой проблемы заключается в том, что явление субстрата помогает понять причину культурной (в широком понимании этого слова), в том числе и языковой, преемственности на одной и той же территории.

II. ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЯЗЫКОВОГО СУБСТРАТА НА ЯЗЫК-ПРЕЕМНИК

Проблема возникновения и формирования языкового субстрата во взаимосвязи и взаимодействии с языками, воспринявшими его, принадлежит, несомненно, к числу наиболее сложных среди лингвистических проблем. Первоначальный энтузиазм, сопутствовавший появлению работ И.Г.Асколи (Ascoli), где впервые данная проблема была поставлена со всей ясностью, и связанный с открываемыми этими работами перспективами, сменился затем все большим скептицизмом, граничившим порой с почти полным отрицанием какой-либо роли субстрата в развитии языков (Фаукес, с. 333–334), между тем как уже Ф.Энгельс в работе «Франкский диалект» убедительно показал роль языкового субстрата на конкретном материале истории нидерландского и немецкого языков и их диалектов. Подобная противоречивость в оценке роли субстрата и самого этого явления вытекает прежде всего из его чрезвычайно большой сложности как чисто внутрilingвистической, связанной с тем, что в субстрате речь идет преимущественно об элементах, адаптированных или калькированных, так и социолингвистической, поскольку в субстратизирующихся языках имеем дело, как правило, с языками неофициальными, а в их

носителях – с этносом, слабо отраженным в истории ввиду его второстепенного, не руководящего, а следовательно, и «(в)неисторического» характера.

Таким образом, задача выяснения обстоятельств как постепенного упадка того или иного языка и превращения его в своих остатках в субстрат языка-преемника, так и постепенной трансформации этноса, его носителя, в часть того этноса, носителя языка-преемника субстратного языка, с которым он сливался, представляет собой типичную лингвистическую и социолингвистическую задачу со многими неизвестными. Ее решение (особенно в начальной стадии) не может быть вполне однозначным и не предполагающим большей или меньшей степени гипотетичности.

Проблема субстрата и особенностей его включения в язык-преемник является чрезвычайно актуальной для многих (если не для большинства) языков мира. Как всякую сложную задачу, ее можно решить только по частям.

Помимо трудностей чисто материального характера исследователей субстратов ожидают немалые трудности теоретического порядка. В связи с тем что научной накоплен уже определенный субстра-

товедческий материал, представляется необходимым осмыслить то, что уже известно в настоящее время о языковом субстрате и его роли в формировании языков-преемников, а также о языках, ставших субстратами, для того чтобы на основе тех обобщений, которые можно сделать путем синтеза накопленных здесь сведений, выработать необходимые теоретические постулаты и рекомендации, ту теорию субстратоведческих исследований, которая могла бы быть полезным инструментом последующих разысканий в области субстратов, в том числе еще не привлекавших к себе внимание науки.

В данной части работы на примере конкретных, уже исследовавшихся языковых субстратов будет обращено внимание на проявление их влияний на разных уровнях языковой структуры языков-преемников – лексическом, грамматическом, фонетическом, фразеологическом¹⁴. При этом будут учитываться не только внутрилингвистические аспекты соответствующих явлений, а и сопутствующие им социолингвистические обстоятельства и факторы.

На основе исследования конкретных явлений в области тех или иных субстратных и постсубстратных языков представляются возможными и закономерными те наиболее обобщенные, синтезированные теоретические выводы о субстрате, его природе, особенностях его возникновения, роли в формировании включающих его языков и их выделении из общего (пра)языка, которые должны явиться итогом всей предшествующей работы, проделанной в данном направлении.

По-видимому, лишь в сравнительно небольшой степени могут быть рассмотрены в работе, как менее изученные, такие близкие к субстрату явления, как суперстрат и интерстрат, которые с субстратом роднит их пережиточный (особенно в случае суперстрата) характер. Эти явления должны войти в исследование преимущественно в своих особенностях, связанных с субстратом и как определенный фон для его освещения, а не в целом, поскольку их

¹⁴ Необычный порядок рассмотрения уровней языковой структуры объясняется степенью их сложности и исследованности, ввиду чего принят порядок в соответствии с принципом «от более к менее исследованному».

специальное исследование предполагало бы полный учет специфики и специальных собственных исследований в данной области в качестве отправной точки, чем автор в данный момент не располагает.

1. Роль субстрата в формировании лексики

Роль субстрата в формировании лексики языков-преемников лучше всего может быть выяснена на примере конкретных, наиболее хорошо изученных в настоящее время субстратных языков. К числу их в первую очередь относятся субстраты романских языков в их взаимосвязи со своими языками-преемниками.

Романские языки среди индоевропейских имеют особую ценность ясностью своих истоков. Их общим предком, праязыком, о котором, в отличие от других праязыков, науке многое известно, была латынь. Причиной образования ее местных народно-разговорных вариантов (диалектов), в дальнейшем преобразовавшихся в отдельные романские языки, явилось своеобразие развития латыни в разных провинциях Римской империи, где перед тем, как вытеснить местные языки, она более или менее длительно с ними взаимодействовала. Затем свой вклад в развитие романских языков внесли так называемые суперстратные языки, нередко образовавшие вторичные субстраты (германские, арабский, славянские). Однако первыми по времени своего воздействия на латынь были субстратные языки, о которых поэтому важно было бы знать как можно больше и именно о которых известно менее всего.

Вследствие своей скудности материал дороманских субстратных языков требует особенно тщательного и точного изучения, которое может идти в двух направлениях; 1) получение новых фактов, важное для того, чтобы расширить исследовательскую базу; 2) осмысление уже известного, что не менее важно с двух точек зрения – для того, чтобы правильно наметить новые пути выяснения конкретных фактов и для того, чтобы лучше понять картину взаимодействия языков при образовании субстра-

тов, что может быть полезно также при изучении аналогичных явлений на материале других языковых групп. В данном случае предпринята попытка, связанная со вторым из двух указанных путей.

Общим при образовании языковых субстратов является то, что они возникают в той социолингвистической обстановке, когда при проникновении части одного этнического общества на территорию другого вследствие ряда стойких преимуществ общества, говорящего на одном языке, над обществом, говорящим на другом, последнее, — как правило, после периода более или менее длительного двуязычия, — переходит полностью со своего первого, традиционного языка, на второй, вновь усвоенный. При этом первый его язык в своих сохранившихся элементах полностью растворяется во втором языке, становясь субстратом этого языка-преемника. Особенность лексических субстратных элементов заключается в том, что они или обозначают реалии, неизвестные народу, носителю языка-победителя, — такие субстратные включения часто трудно отличить от обычных заимствований, — или (и это наиболее типичные субстратные лексические включения) обозначают реалии общераспространенные и известные носителям обоих языков — субстратного и языка-преемника. Необходимости в заимствовании подобных слов, в сущности, здесь совершенно не было. Это не то, что взято, а то, что в силу разных причин оставлено из своего языка. Это его лексические реликты (от лат. *relinquo* «оставляю»). Так, если в ряде севернорусских говоров встречаются, видимо, мерянские лексические включения типа *тохта* «гнилое дерево», *шохра* «низкорослый лес на болоте», то их целесообразность и как заимствований не вызывает сомнений. Это удобные однословные наименования понятий, важных для одного из основных местных промыслов (лесного) или характерных для местного ландшафта. Напротив, только как реликтное включение могут быть поняты слова *лейма* «корова» или *урма* «белка» того же субстратного происхождения, бытовавшие в прошлом в тех же говорах. Однако помимо сугубо лексического воздействия при формировании лексики в целом определенную роль играет,

по-видимому, и фонетика и, что не так уловимо, семантика субстратного языка. Не менее важной оказывается и совокупность внешних (социо)лингвистических обстоятельств, сопутствующих смене языков. В связи с этим общий по своему происхождению и природе процесс образования субстрата приводит к весьма разнящимся друг от друга последствиям. Примеры этого, как представляется, можно найти и среди романских языков.

Для одного из них, а именно галло-романского (французского), были характерны при его формировании и в ходе дальнейшей истории следующие внешнелингвистические обстоятельства. Завоевание Галлии произошло в I в. до н.э. Ее окончательная романизация завершилась, по-видимому, в V-VI в. н.э., заняв, таким образом, период 6-7 веков. Ввиду относительной близости к метрополии и более удобной связи через Альпы, чем через Пиренеи, колонизация римлянами галльских (и шире — кельтских) областей шла путем последовательных передвижений из одной кельтской области в другую, что могло способствовать активному вовлечению в этот процесс романизованных кельтов, ср.: 1) Цизальпинская Галлия; 2) Трансальпинская (Нарбоннская) Галлия, или Провинция (фр. *Provençe*); 3) Северная Галлия, или Бельгия; 4) заморские кельтские земли, Британия. Это могло способствовать тому, что латинский язык усваивался не столько непосредственно от жителей Рима и Лациума, сколько от романизованных кельтов, говоривших по-латыни с большим или меньшим галльским акцентом. Вследствие длительности романизации и возникновения в Галлии наряду с низшими высших школ (например, в Бурдигала (Бордо)), помимо латино-галльского двуязычия, длительно сохранявшегося в сельских местностях и среди низших слоев галльского населения, в галльских городах, в первую очередь среди высших, полностью романизованных, слоев общества была достаточно широко распространена и диглоссия — книжно-литературного и народно-разговорного латинского языка, что способствовало как насыщению письменного языка (прежде всего в период раннего средневековья) народными оборотами и словами, так и обогащению народного

языка книжной лексикой. Северная Галлия, вследствие постоянных и чрезвычайно тесных контактов с Британией, что заставило Цезаря предпринять попытку завоевания Британии, по-видимому, имела галльский идиом, значительно более близкий к кельтским островным, чем галльский идиом юга Франции и Цизальпинской Галлии. Ввиду прочности позиций латинского и народного романского языка в Галлии к ее завоеванию германскими племенами – франками, бургундами и вестготами (позже – норманнами) – германские завоеватели не предпринимали попытки использовать свои языки в качестве официальных в письменности, а сразу же прибегли в этой функции к латинскому, а затем французскому. Проникшее на территории Галло-Романии германское население, особенно в своих верхних слоях, довольно скоро было романизировано. Галлия (позже Франция) была расположена в окружении других романизированных провинций – Италии, Испании, Португалии, Реции, по-видимому, в какой-то степени также южной Британии.

Таким образом, внешне лингвистические обстоятельства способствовали, с одной стороны, прочному и глубокому усвоению населением Северной Галлии романского языка и максимальному лексическому выравниванию своего латинского языка по языку Рима и других смежных романских провинций, связь с которыми все время поддерживалась как во времена Империи, так и после ее распада. С другой, однако, стороны, то обстоятельство, что галльский Север Франции был наиболее близок из континентальных кельтских языков к островным кельтским языкам, способствовало тому, что именно здесь сосредоточивались все фонетические изоглоссы, отделявшие язык Северной Галлии от галльского языка Южной и Цизальпинской Галлии и от исходной романской фонетики. Это, в свою очередь, наложило неизгладимый отпечаток на всю северофранцузскую народно-латинскую лексику в ее основных составных элементах – романских, субстратных галльских и суперстратных франкских.

На основании «Этимологического словаря французского языка» А.Доза («*Dictionnaire étymologique de la langue*

française») в современном французском литературном языке можно выделить около 97 корневых слов галльского происхождения. Очевидно, учитывая все их производные, а также лексемы галльского происхождения, имевшиеся в старофранцузском языке и в современных французских диалектах, можно значительно увеличить эту цифру, говоря о 300 словах галльского происхождения, обычно упоминаемых в научной литературе. Собранная лексика при всей ее неполноте интересна, однако, тем, что она особенно типична, поскольку в основном прочно вошла в современный язык или отражена в наиболее известных его историзмах. Среди 10 условно выделенных тематических групп (1) местоимения (дейктические слова); 2) части тела, выделения и болезни живого организма; 3) родство; 4) природа; 5) элементарные явления жизни, действия, восприятия (глаголы); 6) ориентация в пространстве; 7) качества и свойства (прилагательные); 8) жилище, занятие, питание, одежда, средства передвижения; 9) числительные; 10) духовная жизнь) слова распределяются следующим образом. Нет ни одного слова, относящегося к местоимениям и к лексике, связанной с родством. К названиям, обозначающим части тела и болезни (всего их 5) не относится почти ни одно слово, обозначающее части тела человека. Единственное исключение – фамильярное *trogne* «жаря» (ср. кимр. *trwyn* «нос») при нейтральных *figure, visage, face* романского происхождения. Следовательно, хотя одно слово этой семантики осталось, оно явно отошло к разряду абсолютных синонимов предельно сниженного стиля. Кроме того, сюда же относится слово *jarret* «подколенная впадина». Характерно, что оно не принадлежит к наиболее важным, а следовательно, и частотным словам этой сферы.

Слова, обозначающие природу, выступают в количестве 44, т.е. составляют около половины всей субстратной лексики. Так же как и для предыдущей группы, для нее характерно, что часть данных слов галльского происхождения перешла из галло-романского диалекта в литературный латинский язык, откуда могла проникать в другие романские диалекты (позже языки), – ср. фр. *bec* (лат. *beccus*) «клюв», фр.

alouette «жаворонок» (лат. *alauda*), фр. *alose* «бешенка (рыба)» (лат. *alusa*), фр. *bouleau* «береза» (лат. *bētul(l)a*), фр. *cheval* «лошадь, конь» (лат. *caballus* «(рабочая) лошадь, кляча», исп. *caballo*, итал. *cavallo*, рум. *cal*). Слова же, не проникшие в латинский и оставшиеся принадлежностью галло-романского диалекта (> французского языка), характеризуются тем, что здесь выступают почти без исключения лексемы, обозначающие только конкретные предметы и явления, названия отдельных животных, растений и минералов. Исключений немного. Это слова *branche* «ветвь» и *minéral* «минерал», характеризующие явления, объединяющие целый ряд конкретных предметов. Наиболее многочисленной из тематических групп является группа, связанная с занятием человека: здесь наряду с названиями, характеризующими ремесло, обращает на себя внимание многочисленность слов, относящихся к сельскому хозяйству (*crème* «сливки», *drêche* «солод», *glui* «ржаная солома», *javelle* «пучок сжатого хлеба», *lie* «осадок», *sillon* «борозда»). По-видимому, в связи с большими успехами галлов в добыче полезных ископаемых, руд, в металлургии, а также пивоварении, изготовлении разнообразных повозок и колесных плугов целый ряд подобных слов галльского происхождения, имеющих во французском языке, вошел в латынь или из французского в другие европейские языки (ср. *mine* «рудник, копь», *gravier* «гравий», *bief* «бьеф», *char (carrus)* «повозка», *charrue* «плуг» (лат. *carruca* «каре́та»), *brasser* «варить пиво» (лат. *braces* «полба»), *étain* (лат. *stannum* «олово»). Часть галльских наименований дожила до средних веков, став обозначением типичных для них отношений, — ср. *valet* «слуга», *vassal* «вассал». Со всем незначительны количественно остальные группы. Если не считать глагола *changer* «менять», относящегося к занятиям развитого общества и вошедшего в латынь (ср. *cambio* «меняю»), к глаголам для обозначения элементарных явлений жизни, действий и восприятий принадлежат в современном литературном языке только пять слов: *battre* (вошедшее в латынь, — ср. лат. *battuere*, поздн. *battère*) «бить», *braire* «(фам.) кричать, орать; кричать (об

осле)», *briser* «разбивать, ломать», *gober* «(фам.) глотать», *renfrogner* «морщить брови». По-видимому, результатом сближения двух слов, латинского и галльского, является глагол *craindre* «бояться», возникший, как предполагают, вследствие сближения лат. *tremere* «дрожать» и гал. **stemo* «дрожь». Французские глаголы, как и все другие части речи, разумеется, не отражают непосредственно галльской грамматической формы соответствующих глаголов, а представляют собой галльские глагольные корни (основы), воспроизведенные в словообразовательных и словоизменительных формах латинского языка. Таким образом, французские глаголы восходят непосредственно не к галльскому языку, а к галло-романскому диалекту латинского языка, в котором соответствующие галльские слова претерпели свою грамматическую трансформацию. Обращает, помимо прочего, на себя внимание и то, что часть глаголов (напр., *braire*, *gober*) приобрели во французском языке фамильярный оттенок, который первоначально (в галльском языке) им, по-видимому, не был свойствен (ср. гал. **gobbo* «рот», — ирл. *gob* «клюв», фр. ст. *braire* «кричать» < нар.-лат. (гал.) *bragère* «т. ж.»). Остальные глаголы (*battre* «бить», *briser* «ломать», *craindre* «бояться», *renfrogner* «морщить брови»), хотя и не приобрели указанного сниженного, фамильярного эмоционального оттенка, обозначают действия, связанные с повышенной эмоциональностью. Это говорит о том, что угасавший галльский язык, с одной стороны, как более близкий говорящим на нем галлам по сравнению с латинским, использовался часто преимущественно в тех случаях, когда латинский менее выразительно передавал их эмоции. С другой стороны, ощущавшаяся носителями галльского языка его более низкая по сравнению с латинским социолингвистическая ситуация заставляла воспринимать народнолатинские слова галльского происхождения как социально низкие, фамильярные по сравнению с их абсолютными синонимами латинского происхождения.

Так же малочисленны по своему составу и остальные семантические группы, включающие французские слова галльского происхождения. По отношению к трем сло-

вам, обозначающим ориентацию в пространстве, обращает на себя внимание то, что все они относятся или к мерам длины или площади, или к геометрическим понятиям, причем два из них вошли в латинский язык, -ср.: *lieue* (лат. *leuca, leuga*) «лье, – галльская (> французская) миля (около 2,25 км)»; *arpent* (лат. *agerennis*) «арпан» (около 1250 кв. м); *losange* «ромб». Все эти понятия указывают на высокоразвитое земледелие и землепользование у галлов, имевшее настолько прочные основы, что ряд его понятий были вынуждены принять римляне, причем они пережили как галльский язык, так и римское и франкское завоевание.

Крайне малочисленны также галльские прилагательные, включенные в галло-романский, французский язык. Это такие слова, как *seux* «полый, пустой, впалый», *dru* «сильный, крепкий», *gêche* «жесткий, шершавый, терпкий». Результатом латино-галльского скрещения считается слово *chétif* «тщедушный, хилый; жалкий», поскольку это слово, как полагают, явилось следствием сближения лат. *captivus* «пленник» и гал. **castos* «то же».

Единственным словом галльского происхождения, которое можно отнести к числительным, является нумеральное (неопределенное) прилагательное *maint* (< гал. **mantî*) «неоднократный» (ср. кимр. *maint* «размер, величина»). Важно отметить, что из галльского субстрата не вошло ни одно из основных числительных, обозначающих точные величины или порядок их расположения (количественные и порядковые числительные).

Из слов, относящихся к духовной жизни, в том числе к верованиям галлов, сохранились лишь два слова, обозначающие галльского жреца (*druide* «друид») и поэта-песнопевца (*barde* «бард»). Оба эти слова отражены как в латинском, так и во всех современных европейских языках, причем, если слово *друид* сохранило только свое первоначальное, связанное с галльскими древностями значение, то слово *бард* приобрело в ряде европейских языков, в том числе и русском, характер поэтизма высокого стиля, обозначающего поэта-певца, пророка в самом высоком значении этого слова (ср. из ответа А.С.Пушкину (на послание декабристам), написанного А.Одо-

евским: «Но будь спокоен, бард, цепями, своей судьбой гордимся мы...»).

В целом с семантической точки зрения для галльских субстратных лексических элементов французского языка характерно то, что они, с одной стороны, относятся к техническим терминам и реалиям, очевидно, свойственным Галлии, с другой – обозначают преимущественно конкретные объекты: виды растений, животных, частей ландшафта, орудий и т.д. Итак, здесь есть слова со значением «дуб», «береза», «тисс», «бобер», «лошадь», «плуг», но нет слов со значением «дерево», «животное», «орудие» и т.п., что, видимо, было связано с интенсивным общением с носителями других романских диалектов (позже – языков), при контактах с которыми употребление слов галльского происхождения (особенно слов с высокой частотностью) могло бы вызывать затруднения. Из слов галльского происхождения в галло-романские говоры Северной Франции прочно вошли или те галльские слова, которые, обозначая специфические галльские реалии, воспринятые другими романцами вместе с соответствующими галльскими словами, были им известны, или, хотя и не вышли за пределы Галлии, однако, обозначая характерные для нее и поэтому не переводимые понятия, также были хорошо известны всем ее жителям, независимо от знания (или незнания) ими галльского языка. Те немногочисленные слова, которые сюда не входили, как правило, относились к профессионализмам и лексике в целом тех социальных групп, среди которых, очевидно, дольше всего держался галльский язык (крестьяне, часть людей, занимавшихся традиционными галльскими промыслами и ремеслами (горняки, гончары, кузнецы) и т.д.), где затем эти слова при полном переходе на романскую речь могли сохраниться в составе профессиональной лексики. Поскольку данные группы населения, как правило, не относились к тем слоям, где по роду их деятельности были необходимы частые переезды и общение с жителями романских провинций вне Галлии, эта лексика также практически не мешала функционированию северного галло-романского диалекта (впоследствии французского языка). Следовательно, с точки зрения чисто лексической, воз-

действие галльского субстрата относительно мало повлияло на выделение французского языка среди других романских (в первую очередь западнороманских – провансальского, итальянского, ретороманского, каталанского, испанского, португальского).

Значительно заметнее были преобразования лексики, вызванные фонетическим воздействием галльского субстрата, наиболее важными моментами которого были: 1) назализация гласных звуков перед носовыми согласными, связанная с устранением последних в позиции перед другими, преимущественно носовыми согласными (*chanter* < *cantare*); 2) переход *-st-* > *-it-* (*nuit* < **noctem*); 3) ослабление целого ряда согласных в интервокальной позиции с их дальнейшим выпадением. Последний фонетический процесс привел к особенно значительному изменению облика французских слов по сравнению со словами других романских и латинского языков, что повлекло заметное изменение их формы, прежде всего, выразившееся в их сокращении, – ср. фр. *feu* «огонь» (итал. *fuoco*, лат. *focus*), фр. *sûr* «безопасный» (итал. *sicuro*, лат. *securus*), фр. *île* «остров» (итал. *isola*, лат. *insula*), фр. *vie* (итал., лат. *vita*) «жизнь». Поскольку таковой была общая фонетическая тенденция галльского языка и постгалльского галло-романского диалекта Северной Франции (впоследствии – французского языка), которая реализуется буквально на глазах истории (ср. фр. ст. *vithe* (< *vita*) при совр. *vie*), она действовала одинаково последовательно как в словах галльского происхождения, так и в латино-романских лексемах и лексических заимствованиях из франкского языка: ср. фр. (< (пост)галльское) *lieue* «лье» при лат. *leuca*, *leuca*, отражающими постепенное ослабление, однако при его сохранении (в дальнейшем выпавшего согласного) – фр. (<лат., романское) *vie* < фр. ст. *vithe* < *vita* «жизнь» – фр. (< франк.) *effraier* «испугать» < **exfridare* «вывести из мирного (спокойного) состояния» (от франк. **frida* «мир», – ср. нем. *Friede* «то же»). Значительное сокращение и видоизменение формы французских слов народно-латинского происхождения, а также часто связанная с этим их семантическая неясность

(ср. фр. ст. *é* «пчела» < лат. **ape(m)* «то же») вызвали в какой-то степени необходимость в замене части из них более полными формами, заимствованными из латыни или других романских языков (ср. фр. (совр.) *abeille* «пчела», заимствованное из провансальского, – ср. прованс. *abelha* «то же»), а также дублетность ряда народных и ученых форм типа *sûreté-sécurité*, *frêle-fragile* и под. Таким образом, наиболее заметно на лексику французского языка повлияла фонетика галльского субстрата и, видимо, что еще предстоит исследовать, в какой-то степени его семантика. Воздействие непосредственно со стороны субстратной лексики оказалось менее значительным и не таким заметным.

Иначе обстояло с румынским языком. В отличие от французского, субстратные дакийские лексические элементы в румынском языке обнаруживаются как количественно и, что важнее, качественно более весомая часть лексики. В румынском так же, как и во французском, очевидно, под влиянием субстрата возникло несколько своеобразных фонетических явлений и процессов. Так, видимо, из дакийского языка проник в румынский звук *ă*, характерный и для некоторых других балканских языков (ср.: рум. *limbă* «язык» – болг. *къща* «дом» – алб. *ujë* «вода»). Для дакийского, очевидно, был также характерен звук *h*, благодаря чему, хотя он исчез из позднего латинского, этот звук стал обычным для румынского (в отличие от других романских языков). К менее надежным, однако вероятным, особенностям дакийского можно отнести переход *l* > *r* (рум. *soare* – итал. *sole*, лат. *sol* «солнце»), а также *qu* > *p* (рум. *apă* – лат. *aqua* «вода»). Но, поскольку румынские фонетические процессы, которые могут восходить к дакийскому, не изменили настолько же основательно, как во французском, исходную структуру романского слова (она вполне явственно проглядывает сквозь фонетические изменения), можно считать, что в целом фонетическое воздействие субстрата не отличалось в румынском особой интенсивностью.

Более заметным, чем в случае французского, был зато лексический вклад субстрата, и это несмотря на то, что вклад

дакийского субстрата изучен далеко не полностью, так как лексика дако-мизийского языка известна значительно хуже кельтской, и несмотря на то, что в румынском гораздо значительнее, чем в западнороманских языках, вклад суперстратных языков (в данном случае славянских).

Субстратная дакийская лексика отобрана на основе лексического материала, приведенного в книге «Istoria limbii române» (vol. 2, București, 1969, cap. «Influența autohtonă, p. 327–356) и отчасти в работе Г.Рейхенкрона (G.Reichenkron) «Das Dakische (aus dem Rumänischen rekonstruiert)» (Heidelberg, 1966, S. 84–174). Ввиду того что, как правило, принимались во внимание только слова современного литературного языка, собранный материал примерно равноценен французскому. Сопоставление его показывает, однако, что лексические элементы субстрата занимают в румынском более важное место, чем во французском. Прежде всего их количественно больше, даже несмотря на то что, по указанным выше причинам, обнаружена, очевидно, далеко не вся лексика субстратного происхождения. Но, что еще важнее, эта лексика весомей и в качественном отношении. Вместо 96 галльских корневых лексических элементов во французском в современном литературном румынском языке можно обнаружить 115 корневых лексических элементов субстратного дакийского происхождения.

Причем, в отличие от французского, нет ни одной тематической группы, где бы полностью отсутствовали субстратные лексемы. Распределены они следующим образом: 1) местоимения (дейктические слова) (1 слово); 2) органы, части тела, выделения и болезни живого организма (9 слов); 3) родство (6 слов); 4) природа: а) элементы, формации и явления природы (13 слов); б) растительный мир (13 слов); животный мир (13 слов); в) минералы, металлы (1 слово); 5) элементарные явления жизни, действия, восприятия (глаголы) (9 слов); 6) ориентация в пространстве (1 слово); 7) различные качества, свойства, состояния и возрасты (прилагательные) (11 слов); 8) жилище, занятие, питание, одежда, средства передвижения (28); 9) числительные, обозначения

количества (3 слова); 10) духовная жизнь, верования (4 слова).

Наименее типичными в качестве субстратных включений являются слова, обозначающие обстоятельства материальной жизни (занятия, жилище, одежду, средства передвижения и под.). В отличие от галльских по происхождению лексем французского языка, свидетельствующих о разнообразии хозяйственных занятий общества, говорившего на галльском языке, лексика дакийского происхождения свидетельствует о том, что преобладающим, почти единственным занятием даков было сельское хозяйство, преимущественно скотоводческо-пастушеского направления, где остальные занятия (например, изготовление одежды) были тесно с ним связаны, как бы вытекали из него, не представляли еще собой отделившихся от него полностью ремесел. Определенное место здесь, в отличие от галльского языка, занимают также лексемы, обозначающие жилье, поселения. Таким образом, значительная часть лексики дакийского происхождения относится к скотоводству, прежде всего овцеводству, наиболее целесообразному в условиях горной местности, занятой в основном даками, — ср.: 1) *strungă* «загон для дойки овец», 2) *baci* «старший пастух»; 3) *țar* «зимний загон для ягнят», 4) *urdă* «сладкий овечий сыр»; 5) *brînză* «сыр, брынза»; 6) *stîină* «огороженное место для загона овец; сыроварня»; 7) *hîrșie* «смушка барашка»; 8) *zăr (zer)* «сыворожка»; 9) *zară* «пахтанье». С земледелием связано меньшее количество слов. Это такие лексемы, как: 1) *balegă* «навоз», 2) *grapă* «борона», 3) *groapă* «яма», 4) *(a)hălpi* «полечь (о зерновых злаках)». Производство одежды и обуви, по-видимому, домашнего изготовления и разные их виды характеризуют следующие слова: 1) *argea* «скамеечка ткачихи; (уст.) землянка для тканья пряжи летом»; 2) *bumb* «пуговица»; 3) *carîmb* «голенище»; 4) *căciulă* « меховая шапка»; 5) *brîu* «широкий шерстяной пояс (цветной)»; 6) *andrea* «спица, вязальная игла»; 7) *cioareci* «белые узкие крестьянские брюки». К группе слов, обозначающих орудия и сосуды, не связанные с земледелием, можно отнести только такие лексемы, как

burduf «бурдюк, (кузнечные) мехи», cursă «капкан, западня», țeară «заостренный кол». Единственным словом, обозначающим действие, которое относится к хозяйственным занятиям, является глагол (a)scăpăra «высекать огонь». Единственным словом, связанным с понятиями передвижения, является слово drum «дорога, путь». Два слова субстратного происхождения обозначают музыкальные инструменты даков. Это fluier «свисток; свирель» и trișcă «тришка, камышовая дудка». Особое место среди субстратных слов по важности обозначаемых ими понятий занимают лексемы, связанные с понятиями жилища и поселений, кстати, совершенно отсутствующие среди лексики галльского субстрата во французском языке. Здесь, наряду с обозначением специфического жилья, характерного в особенности для пастухов, такого, как colibă «хижина, избушка; шалаш», более основательная постройка со значением «дом» обозначается словом романского происхождения casă. Однако сюда же относится слово sătun «деревушка, хутор», видимо, небольшое деревенское поселение даков. Важное понятие, относящееся к жилью, обозначает слово субстратного происхождения vatră «очаг, печь», во французском передаваемое романским foyer (< нар.-лат. fociarium от focus «огонь»). Сюда же можно отнести gard «забор, изгородь».

Следовательно, среди названий, характеризующих деятельность человека в ее материальном проявлении и обозначенных субстратными лексемами, в румынском наряду со словами, закрепление которых в этом романском языке можно объяснять спецификой реалий, обусловленных, например, особенностями местного овцеводства, специфическими постройками (colibă), селениями (sătun), можно встретить и целый ряд слов, ничем не примечательных и неспецифичных, которые могли бы быть свободно переданы романскими лексическими элементами, — ср.: drum «дорога, путь», (a)scăpăra «высекать огонь», balegă «навоз», gard «забор, изгородь», groară «яма», vatră «очаг, печь». Эти слова относятся к типичным субстратным включениям типа реликтов, и одной из причин их сохранения можно считать их тесную связь с по-

вседневной жизнью, бытом, а отсюда, видимо, и их высокую частотность.

Среди названий, связанных с природой, преобладают слова трех разрядов, обозначающие: (1) элементы, формации и явления природы, (2) растительный мир, (3) животный мир. Закрепление субстратных слов этой семантической группы можно объяснить двумя причинами — 1) большей или меньшей экзотичностью обозначаемых субстратными словами реалий (данные реалии или были неизвестны переселенным в Дакию романцам, если они происходили из провинций с совершенно другой природой (Южная Италия, Прованс (Провинция), Испания), или отличались там малой частотностью, редкостью); 2) тем, что данные слова, обозначая более общие понятия, были чрезвычайно частотными в языке даков и благодаря этому оказались способными сохраниться даже после окончательной романизации населения и полного вытеснения дакийского языка (слова-реликты). К первой группе с наибольшим основанием можно отнести только слово viscol «снежная буря, вьюга», обозначающее, действительно, явление, совершенно незнакомое жителям юга. На границе между экзотической и общераспространенной лексикой могли стоять слова, хотя и обозначающие понятия, связанные с любой горной и лесистой местностью, которую представляла собой большая часть территории древней Дакии, однако имевшие в связи с ее спецификой (более суровый климат, своеобразие рельефа) свой особый семантический оттенок, способствующий их закреплению в местном романском диалекте (> языке). Сюда, видимо, с большим или меньшим основанием могут быть причислены такие лексемы, как bunget «чаща леса», codru «бор», măgură «холм, курган», dîmb «возвышенность», hău «пропасть, бездна». К числу слов, обозначающих формации и явления природы наиболее общие и ничем не примечательные, где единственным объяснением, кроме внешнелингвистических обстоятельств, может быть их высокая частотность в языке автохтонного населения, относятся такие слова, как baltă «болото», mal «берег», abur «пар», pîrău «ручей», scrum «пепел», spruză «зола». Ясно, что эти слова, обо-

значающие самые повседневные и общие понятия, не заключали в себе ничего специфического, тем более экзотического, и никакого основания для их заимствования не было. Это наиболее типичные слова-реликты, сохранение которых в речи местного населения даже при переходе его на романский язык можно объяснить только их обычностью, частотностью в первом, оставленном языке.

Среди слов, обозначающих растения, к числу субстратных лексем, сохраненных в дако-романском языке не столько в силу их частотности, сколько, возможно, определенной местной специфики, по-видимому, можно было бы отнести *gogun* «вечнозеленый дуб», *brad* «пихта, ель», *soacă* «смородина», *leurdă* «медвежий лук, черемша». По причине малозначительности, определенной бесполезности этих растений могли сохраниться дакийские включения при обозначении таких растений, как лопух (*brusture*) и чертополох (*scai(u)*). Возможно, распространенностью в Дакии гороха как пищевого продукта следует объяснить также сохранение субстратного дакийского включения *paşăre* «горох». Однако единственно возможным является объяснение субстратных включений как слов-реликтов в тех случаях, когда они обозначают общие понятия, например, *ciupr* «сук», *surpen* «усик, ползучий стебель вьющегося растения», *ghimpe* «колючка, шип», *sîmbure* «косточка (плода)», которые отражают части любых растений. В особенности показательно в этом случае слово *soras*, имеющее значение «дерево» и сохранившееся наряду с романским *arbore* с тем же значением.

Среди названий животных, рассматриваемых в качестве субстратных по происхождению, наряду со словами, обозначающими специфичные или малозначительные реалии (*dolcă* «овчарка», *săruşă* «клещ (овечий)», *zimbru* «зубр», *ghionoaie* (*gheonoaie*) «зеленый дятел», *viezure* «барсук» и др.), встречаем также слова, обозначающие либо общераспространенные разновидности животных, либо хорошо известные и в других романских провинциях. Сюда следует отнести такие слова, как *mînz* «жеребенок», *ciogă* «ворона», *măgar* «осел», *nărlcă* «гадюка», *rupăză* «удод», *raţă* «утка»,

şorîrlă «ящерица», *ţar* «козел». Единственной внутрилингвистической причиной их сохранения, кроме социолингвистических обстоятельств, можно считать то, что все эти слова, обозначающие или диких, или менее важных в хозяйственном отношении животных, не лежат, так сказать, на магистральном пути развития нового романского диалекта (языка). Более общие понятия или обозначения более важных животных могли иметь уже романские наименования. Так, наряду с дак. *mînz* «жеребенок» или *măgar* «осел», романское наименование получило близкое, но более ценное по возрасту, силе и значимости животное: понятие «лошадь» передается, хотя и галльским по происхождению, но ставшим общероманским в народной латыни словом *cal* (< нлат. *caballus*). Слово, обозначающее конкретный вид пресмыкающегося «гадюка», передано лексемой дакийского происхождения (*nărlcă*), однако общее понятие «змея» передается в румынском романским *şarpe* (< нлат. **serpen* (**serpis*) < *serpens*). Следовательно, в область названий животных общие наименования субстратного происхождения проникали с трудом, что, возможно, объясняется большим для Дакии значением животноводства по сравнению с земледелием. Интересно в этом отношении и автохтонное *ţar*, обозначающее понятие «козел», в то время как основные понятия, связанные с более важным, по-видимому, овцеводством, передаются в румынском с помощью романских слов, — ср. «баран» (*berbec* < **berbex* < *vervex* «баран (холощенный)» — фр. *brebis* «овца») и «овца» (*oaie* < лат. *ovis*).

Единственным словом, проникшим из дакийского, которое характеризует минералы и металлы, считается *gresie* «песчаник». Его сохранение могло объясняться частотностью реалии, поскольку общие названия, например, для понятия «камень» и для всех основных и наиболее ценных металлов, передаются в румынском словами романского происхождения, — ср. *piatră* «камень» (от гр. *πέτρος*, получившего большое распространение в народной латыни и романских языках, — ср. лат. (поздн.) *petra* «скала, камень», фр. *Pierre*, итал. *pietra*, исп. *pedra*, порт. *pedra*), *fier* «железо», *aramă* «медь»

(aeramen(tum) «медная посуда»), plumb «свинец», aur «золото», argint «серебро».

Менее многочисленными по составу, но по-своему не менее интересными являются другие семантические группы субстратной по происхождению румынской лексики.

К числу дейктических слов несколько условно может быть отнесено румынское, предполагаемое дакийское по происхождению aș (ași) «полно, полноте» (ср. алб. as «нет»). Данное слово интересно тем, что среди французской лексики галльского происхождения подобные слова явно служебного (и, следовательно, наиболее частотного) применения совершенно отсутствуют. Указанное слово относится к словам типично реликтным, поскольку выражаемый им оттенок значения, безусловно, без труда мог бы быть передан средствами романской лексики. Слово, содержащее подобную семантику, могло сохраниться и быть включенным в романский идиом только вследствие условий, благоприятствовавших сохранению субстратной лексики в целом, в том числе и той, которая не отражала какие-либо специфические предметы и явления.

О том же в меньшей степени свидетельствуют названия органов частей тела, выделений и болезней живого организма. Здесь наряду со словами, которые могут претендовать на известную специфичность передаваемых ими понятий (например, gălbează «воспаление печени (у овец)», lațe (мн.ч.) «спутанные пряди волос» (ед.ч. laț «силок»), gușă «зоб (болезнь, характерная для горных местностей)»), встречаются лексемы, обозначающие те понятия, в частности, касающиеся частей тела, в заимствовании которых в романский диалект (> язык) не было никакой необходимости. Правда, в этой группе есть и слово сіос «клюв», передающее понятие, связанное с частями тела птиц и, возможно, проникшее в связи со своей, с одной стороны, лексической малозначительностью, а с другой, в силу эмоциональной звукоизобразительной (имитативной) выразительности (ср. подобное же субстратное бес «клюв» во французском языке). Однако кроме него обнаруживаются также слова, обозначающие части тела человека, – ср. сіуф «чуб, вихор», buză «губа» (единственное обозначение

этого понятия при отсутствии соответствующего синонима романского происхождения), seafă «затылок» (синоним романского происхождения в литературном языке отсутствует), grumaz «шея, затылок» (употребляется в значении «шея» параллельно со славянским по происхождению синонимом gît от *glъtъ(-ka), а со значением «затылок» параллельно с дакийским по происхождению seafă). С помощью дакийского по происхождению слова (burtă, – ср. гр. φορτίον «ноша, плод (чрева)»), передается и такое важное понятие, как «живот», правда, наряду с романским по происхождению словом того же значения rîntese «живот» (ср. лат. *pantex (pantices) «живот, брюхо или кишка»). Румынский язык, как видим, значительно отличается в данной тематической группе от французского, поскольку в последнем было отмечено только одно слово галльского происхождения jarret, обозначавшее мелкую часть тела, «подколенную впадину», в румынском же использован целый ряд слов субстратного происхождения, причем для обозначения важных и существенных частей тела, связанных с головой («губа (губы)», «шея», «затылок») и туловищем («живот»).

Не представленная во французском ни одним словом субстратного происхождения такая важная тематическая группа, как названия, связанные с родством (или возрастом), содержит в румынском целый ряд лексических единиц, – ср.: 1) ghiuș («ирон.) старикашка»; 2) boreasă «замужняя женщина; жена»; 3) copil «ребенок, дитя; мальчик»; 4) moș «старик, дед»; 5) spîrc «ребенок, крошка, карапуз»; 6) băiat «мальчик, парень». Обращает на себя внимание наличие синонимов, в особенности в обозначении детей, а также то, что среди данных слов содержатся две важные лексемы для передачи понятий «ребенок» (copil, – не имеющие синонима романского происхождения) и «старик» (moș). Включение подобных слов ничем, кроме благоприятных условий для сохранения реликтной субстратной лексики, объяснить нельзя.

Более многочисленную, чем во французском, тематическую группу субстратной лексики представляют собой в румынском слова для обозначения элементарных

явлений жизни, действий, восприятий (глаголы) (9 вместо 5 во французском). В сущности, в данном случае речь, конечно, идет не о дакийских глаголах, а о дакийских глагольных корнях (основах), продолжающих свою жизнь в румынском в новом романском (> румынском) грамматическом оформлении. Сюда предположительно относят следующие глаголы: 1) (a)busura «радовать, веселить»; 2) (a)ciupi «щипать»; 3) (a)lehăi «болтать (говорить)»; 4) (a)băga «вкладывать, всовывать»; 5) (a)bosăni «стучать, ударять», 6) (a)ciond(r)ăni «бранить, ругать»; 7) (a)feri «защищать»; 8) (a)găsi «находить»; 9) (a)fărîma «крошить, дробить». Сохранение некоторых из глаголов можно отчасти объяснить известной эмоциональной окрашенностью субстратной лексики, однако подобное объяснение допустимо далеко не во всех случаях. Часть глаголов, абсолютно нейтральных по значению и важным по своей функции, решительно противится подобному объяснению. Так, глаголы (a)găsi «находить, найти», (a)feri «защищать, оберегать», (a)băga «вкладывать, всовывать» совершенно невозможно объяснить, если исходить из того, что они должны были заполнить какую-то пустую клетку в общей таблице лексической системы. Сохранение этих глаголов могло, с одной стороны, объясняться высокой частотностью в дакийском языке, хотя такой же, если не большей, частотностью должны были обладать и романские соответствия, в связи с чем именно частотность и нейтральность данных глаголов обрекала их на выпадение из лексики дако-романского диалекта (> языка). Таким образом, с другой стороны, для того чтобы они сохранились, необходимы были экстралингвистические условия, способствующие этому.

В румынской лексике субстратного происхождения к словам, служащим для выражения ориентации в пространстве, можно отнести только лексему *horțiș* «искоса, косо». Среди румынских слов субстратного происхождения, входящих в эту группу, в отличие от соответствующих французских субстратных элементов, нет обозначений специфических мер, расстояний или площадей. Приведенное слово служит для обозначения наиболее обычного и, следова-

тельно, общераспространенного понятия, выражающего ориентацию в пространстве, поэтому и в данном случае следует говорить об особой (по сравнению с галльскими) устойчивости дакийских субстратных элементов. Включение их в дако-романский идиом здесь, как и в других случаях, было вызвано не семантической весомостью выражаемых ими понятий (их новизной, необходимостью как дополняющих систему элементов), а всего лишь более устойчивым их положением и соответственно большей, чем в Галлии, слабостью в Дакии позиций романской речи.

Богаче по сравнению с галльскими субстратными включениями во французском состав дакийских по происхождению прилагательных в румынском языке (11 вместо 4). Здесь также можно встретить ряд прилагательных, связанных с животноводством и носящих ввиду этого известный специальный («технический») характер. Сюда можно отнести такие слова, как *șurg* «караковый (о масти)», *ciut* «безрогий, однорогий», *ciul* «корноухий, меченый (об овцах, собаках)», *știră* «бесплодная (о животных)». Наряду с ними, однако, встречаются и прилагательные (и наречия), обозначающие более нейтральные общераспространенные значения, — ср. *bălan* «белокурый; белый (о масти)», *hojma* «беспрерывно, постоянно, вечно», *gata* «готово», *teafăr* «здоровый, здравый, разумный», *hutuțiu* «глупый, бестолковый». Характерно, что большинству этих слов свойственны нейтральные или положительные оттенки значения. К числу слов субстратного происхождения относят и такие чрезвычайно важные и частотные прилагательные, обозначающие размер, как *mare* «большой, великий» и *mic* «малый, маленький». Разумеется, вся последняя группа прилагательных и наречий, в особенности два последних, не давала никакого повода для их заимствования в новый романский идиом. Это наиболее типичные реликтные слова субстратного происхождения.

К числительным можно отнести слово, обозначающее неопределенное множество (*droaie* «множество, груда, куча». Однако наряду с ним в румынском сохранилось и признаваемое субстратным количественное дробное числительное *jumătate* «полови-

на», также понятное только в качестве реликтного слова.

К числу слов, которые можно отнести к духовной жизни, в том числе верованиям, принадлежат лексемы *bală* «чудовище», *gođă* «пугало, бука», *paibă* «черт», связанные с языческой демонологией и потому сохранившиеся как реликты язычества. Как лексический элемент, передающий специфический жанр румынской народной поэзии и музыки, явно восходящий к дакийской древности, следует рассматривать слово *doină* (диал. *daină*). В отличие от большинства других субстратных слов, имеющих преимущественно албанские параллели, данное слово в наибольшей степени связано с балтийскими – лит. *dainà*, лтш. *daina* «народная песня». Румынское слово, как и его балтийские соответствия, обозначает народную лирическую песню особого характера. Ввиду того что этот тип песен, исполняемых уже на романском языке, сохранил как свое древнее дакийское название, так и, по-видимому, свое музыкальное и поэтическое своеобразие, в их сохранении можно видеть особую устойчивость дакийского фольклора в его, очевидно, наиболее популярном жанре, пережившем даже смену языка. Все слова данной группы, являясь субстратными включениями, одновременно на фоне романской основы румынской лексики могут рассматриваться и как субстратные экзотизмы, поскольку обозначают или один из видов определенного (более широкого) понятия, или представляют собой один из выражающих его синонимов (причем не наиболее распространенных). Так, слово *doină* обозначает только один из видов народной песни. Понятие «песня (вообще)» передается словом романского происхождения *cîntec* (лат. *canticum*). Лексема *bală* «чудовище» имеет в литературном языке в качестве основного синонима слово *monstru* с тем же значением. Следовательно, данная тематическая группа слов, хотя и относится к числу субстратных, связана скорее не с чистыми реликтами, а с включениями, сохранение которых в языке-преемнике могло быть мотивировано как традицией субстратного языка, способствовавшей их сохранению, так и тем, что они передавали

понятия, по-видимому, восполнявшие семантическую (и эмоциональную) систему языка, т.е. вошли в него при той ситуации, которая возможна и при заимствовании в прямом понимании слова.

Рассмотрение румынской субстратной лексики показало, что по сравнению с такой же лексикой французского языка она в значительно меньшей степени может быть оценена как лексика экзотизмов или технических терминов, а также как источник сниженно-эмоциональной языковой синонимии. В отличие от французской, здесь значительно больше слов общего нейтрального значения, причем нередко не имеющих синонимов несубстратного (романского) происхождения. Если субстратная лексика французского языка или тяготеет к его периферии (профессиональным языкам), или обозначает относительно узкие конкретные значения, то такая же лексика румынского языка в целом ряде случаев оказывается в центре лексической системы, обозначая существенные понятия, такие, как части тела, родство и возраст, части рельефа, растительный и отчасти животный мир, жилье, некоторые важные глаголы и прилагательные (наречия, предикативы). Кроме того, здесь даже сохранено (причем не в арго или диалекте, а в литературном языке, что бывает крайне редко) одно количественное числительное. Ср. в связи со сказанным такие слова, как *buză* «губа», *ceafă* «затылок», *grumaz* «шея, затылок», *burtă* «живот»; *copil* «ребенок», *moș* «старик»; *baltă* «болото», *mal* «берег», *codru* «бор, дремучий лес», *abur* «пар»; *soras* «дерево»; *mînz* «жеребенок», *țap* «козел»; *drum* «дорога», *vatră* «очаг, печь»; *(a)găsi* «найти», *(a)băga* «вкладывать», *(a)feri* «защищать, оберегать»; *horțiș* «искоса, косо»; *mic* «малый», *mare* «большой», *gata* «готово»; *jumătate* «половина».

Проведенные исследования показывают, что румынский, несмотря на его несомненную принадлежность к романским языкам и многочисленные лексические заимствования из других языков, в которых наиболее значительное место занимают суперстратные, субстратные и адстратные славянские включения и заимствования, сохранил и довольно заметный слой суб-

стратных автохтонных лексических элементов. Дальнейшие разыскания, безусловно, покажут, что к этому слою должны относиться, кроме уже обнаруженных, и другие слова, пока еще не открытые как субстратные и поэтому относимые к разряду темных. Однако уже обнаруженное показывает, что субстратные лексические элементы в румынском, может быть, не столько ввиду их многочисленности, сколько большого удельного веса ряда из них играют в нем достаточно серьезную роль, которая во многом определяет его специфику как особого романского и в то же время балканского языка. Не следует забывать, что именно дакийский субстрат в наибольшей степени связывает румынский язык с, видимо, родственным дакийскому албанским, а также его субстратным предком дакийским языком и вместе с тем с другими палеобалканскими языками. Чрезвычайно важно было бы уяснить, чем вызвана в румынском подобная живучесть и удельный вес лексики дако-мизийского (или точнее, возможно, гето-дако-мизийского) происхождения по сравнению с более скромной ролью лексики галльского происхождения в формировании словаря французского языка. Думается, что основную роль в этом сыграли не внутренне-, а внешнелингвистические причины. Нет оснований, разумеется, видеть в этом следствие чрезвычайной развитости дакийского языка по сравнению с галльским. Напротив, то большое количество разнообразных терминов материальной культуры, взятых непосредственно из французского, но в конечном счете восходящих к галльскому языку, которые из галльского вошли в латынь, а из нее или французского во все романские и многие европейские языки (ср.: рус. *гравий, бьеф, вассал, валет, батальон, батальный*; п. *ambasada*; лат. *carrus, carruca, caballus* и т.д.), подтверждает высокий уровень ее развития у галлов. Нет сомнений и в том, что достаточно развитой была и духовная жизнь галлов, о чем говорят не только косвенные свидетельства высоко развитой литературы других кельтских народов, а хотя бы галльское слово *бард*, вошедшее со значением «вдохновенный поэт-песнопевец» во все европейские языки. Галль-

ский язык проявил, по-видимому, исключительную стойкость и, несмотря на все усилия романизировать полностью Галлию, пережил языческую Римскую империю и окончательно исчез в первые века распространения христианства. На то, чтобы его полностью вытеснила латынь, понадобилось около 6–7 веков. Это принимала во внимание даже римская администрация, отнюдь не поддерживавшая, как известно, развитие каких-либо языков, кроме латыни, и признававшая только силу тех языков, с которой нельзя было не считаться (греческий и арамейский на Востоке). Если в специальном разъяснении известного римского юриста Ульпиана, относящемся к III в. н.э., но внесенном в кодекс законов императора Юстиниана, говорится о правомочности завещания, составленного на галльском языке, значит даже после римского завоевания в Галлии допускалось, пусть в ограниченном объеме, официальное употребление галльского языка, что также не свидетельствует о его слабости. Напротив, романизация Дакии произошла за очень короткое время (с 106 г. н. э. до 275 г. н.э., т.е. в течение 169 лет). Как известно, в латинский язык, а вместе с тем и в другие романские не вошло ни одно дакийское слово. Правда, некоторые слова дакийского происхождения вошли в ряд языков, смежных с румынским (ср. болг. *колиба, друм*, укр. *колиба, цал*), но в ряде случаев они известны только диалектам местных языков, за границы же непосредственно смежных с Румынией стран эти слова, как правило, не перешли. Следовательно, все говорит о том, что если часть лексики дакийского происхождения, в том числе и очень важной, закрепилась в румынском языке, то вызвано это было не столько внутренней причиной (высокой развитостью дакийского языка), сколько причинами внешне(социо)лингвистическими.

В отличие от Галлии, завоеванной римлянами еще в I в. до н.э. и находившейся под их господством до конца V в., т.е. около 6 веков, Дакия под римским господством находилась всего 169 лет, т.е. менее 2 веков. Таким образом, хотя романизация Дакии совершилась очень быстро, чему способствовало заселение этой провинции

выходцами из западных романизированных провинций, романизация местного дакийского населения должна была носить довольно поверхностный характер. Этому могли способствовать и неоднократные восстания даков (в 117–118, 139, 143, 156, 170 гг. и позже), свидетельствующие о том, что местное население всеми силами противилось римскому господству, а значит, вряд ли могло полностью отказаться от своего языка (это было бы просто нецелесообразно, поскольку тем самым оно бы лишалось удобного средства, позволяющего при общении друг с другом в то же время хранить в тайне от римлян враждебные по отношению к ним замыслы). Дакийский язык был необходим дакам и для связи с той их частью, которая ушла к родственным племенам (костобокам, роксоланам и др.), расположенным вне территории римского завоевания, и откуда даки ожидали поддержки в своих восстаниях против римлян. Общаться с этими племенами, совершенно нероманизированными, дакам также было удобнее всего не на латинском, а на дакийском языке. Несмотря на связь романского (и романизированного) населения Дакии с римским населением в пределах ближайших провинций Римской империи, продолжавшуюся, как полагают, до V, а возможно и до VII в. н.э., даже несмотря на то что римские гарнизоны покинули Дакию в 275 г. н.э., очевидно, все же речь идет только о полностью романизированном и романском населении, так как вряд ли подобные связи могли интересоваться даков, сохранивших свой язык. Другим не менее важным обстоятельством, которое не могло не отразиться на развитии местного романского идиома, было, видимо, то, что он, будучи оторван от центров римской образованности, в меньшей степени, чем другие романские диалекты, испытывал нормализующее влияние книжной латыни. Это нашло свое отражение в ряде своеобразных семантических особенностей местного романского языка уже в его романских (латинских) элементах: *rămint* «земля» (< лат. *pavimentum* «утрамбованная с щебнем и известкой земля; мозаичный пол; каменная кровля»), *bătrîn* «старик» (< лат. *veteranus* «ветеран»), свиде-

тельствующих о том, что в Дакии романский язык, лишенный обычной для остальной Романии диглоссии народная латынь – книжно-литературный латинский язык, развивался почти исключительно как народная латынь. Правда, еще при начальной проповеди христианства в Дакии римскими миссионерами для христианизации местных романцев использовалась книжная латынь, лингвистическим свидетельством чего является рум. *dumnezeu* «Бог» (< лат. *Domine Deus* «Господи Боже»), но с эпохой переселения народов и особенно с движением славян на Балканы, со все большей эллинизацией Восточной Римской империи (> Византии) все в большей степени намечался отрыв романцев Дакии от латинского языка. Очевидно, в немалой степени этому способствовало разделение первоначально единого христианства на католиков и православных, сделавшее латынь, особенно как богослужебный язык католиков, «латынников», одиозной в глазах православных. Смешанный романо-славянский характер возникавших княжеств Молдавии и Валахии стал причиной того, что их богослужебным и официально-административным языком стали славянские языки – церковнославянский в церкви, древнерусский (староукраинский) и среднеболгарский в администрации. Лишенный связи с другими романскими языками, – и это едва ли не главное обстоятельство, – румынский язык не мог испытать их влияния, а у его носителей не возникало необходимости при контактах с другими провинциями Римской империи (а позже с романскими странами) выравнивать по ним свой язык, освобождая его от слишком большого числа слов, – преимущественно наиболее частотных, – непонятных другим романцам. Ведь румынский язык обслуживал только румын, им они не пользовались в общении с другими родственными народами. Поэтому и не нужно было изгонять из него те элементы (субстратные (дакийские); славянские, венгерские, греческие и турецкие), которые были бы непонятны представителям других романских народов. У романских народов Западной Романии потребность в таком выравнивании возникала значительно чаще, поскольку этому способствовали многочис-

ленные совместные переживания: принадлежность к общей для них католической церкви (с ее латинским языком); участие в крестовых походах, паломничество в Рим и к другим наиболее известным святым местам, признанным католической церковью; войны французов и испанцев в Италии; обучение романоязычной молодежи в университетах других романских стран, где при использовании латинского языка в качестве научного (и учебного) невольно приходилось прибегать к несвоему (местному) романскому языку и т.п. Таким образом, многочисленным взаимосвязям носителей романских языков Западной Романии следует противопоставить почти полный романский и латинский «изоляционизм» румын и молдаван. Данное обстоятельство также способствовало закреплению своеобразных лексических черт романского румынского языка, в том числе и своеобразной лексики субстратного происхождения.

Иногда сравнивают позднейший слой германской лексики в западногерманских языках со слоем славянской лексики в румынском. Однако сравнение это во многом неточно. В подавляющем большинстве случаев германские языки нигде на территории Романии не использовались в качестве письменно-литературных и официальных. В этой роли и в вестготской Испании, и во франкской Франции, и в лангобардской Северной Италии использовалась только латынь, что в немалой степени ускорило переход германцев, поселившихся в этих странах, на местные романские языки, их романизацию. Германские языки можно было бы сравнить по их воздействию на западнороманские с воздействием славянских языков на румынский (и молдавский) только в том случае, если бы и в Западной Романии, как произошло это в Восточной со славянскими языками, германские языки, кроме их роли разговорного языка господствующего меньшинства из германских феодалов и разговорной речи поселившегося среди романцев германского населения, выполняли к тому же роль языков богослужения и использовались как официальные письменно-административные языки. Поскольку ничего подобного никогда не было, ситуацию румынского языка с си-

туацией западнороманских языков в целом сравнивать недопустимо. Единственную наиболее близкую аналогию во взаимоотношениях западнороманских языков с германскими (немецким языком) по отношению к румынскому в его связях со славянскими представляет ретороманский язык, который длительное время, как и румынский со стороны славянских языков, подвергался воздействию со стороны немецкого языка и поэтому насыщен, пожалуй, не в меньшей степени, чем румынский, славянскими лексическими заимствованиями, германскими (немецкими) лексическими элементами.

В дальнейшем, когда с XVI в. национальная литература Валахии и Молдавии (позднее Румынии и Молдовы) стала развиваться на национальной основе дако-романского языка, а позже, с XIX в., все более стали налаживаться связи с другими романскими народами, возникло и стремление выйти из состояния невольного, исторически обусловленного «романского изоляционизма» по отношению к другим, западнороманским народам, усилить романский облик языка. Тяготение к рероманизации румынского языка диктовалось прежде всего стремлением придать ему более романский облик и тем самым, сделав более понятным для других романцев, создать возможность для непосредственных культурно-языковых связей с родственными народами, ввести его в круг великих романских культур – французской, итальянской, испанской, португальской, воспользоваться плодами их развития. К этому вынуждало и стремление к европеизации языка после долгого летаргического сна в условиях восточного деспотизма разлагавшейся Оттоманской империи. Дело в том, что подавляющее большинство европейских интернационализмов строится на базе латинских или включенных в латынь греческих элементов. Для румынского языка, как одного из романских, этот путь представлялся вдвойне естественным, и он также, возвращая его к романским (и глубже) латинским корням, способствовал рероманизации и одновременно европеизации румынского языка. Вначале некоторые энтузиасты, стремясь предельно рероманизовать язык, выбрасывали из него все сла-

вянские элементы, даже глубоко укоренившиеся в нем. Эти попытки иногда в известной степени лишали язык его национального лица, мало того, делая непонятным для самих румын, отрывали его от народа, от естественного развития. Затем был выбран, по-видимому, единственно правильный путь: вводя постепенно романскую лексику, выпавшую в ходе его развития из румынского языка, оставляли в нем и прижившиеся славянские и другие нероманские элементы. Это способствовало появлению в ряде случаев целого ряда романославянских синонимов, обогативших язык лексико-семантически и стилистически. Появились, например, такие пары синонимов, как *amor* и *iubire* (от славян. *любити), *voce* и *glas*, *spirit* и *duh* и под. Своеобразие субстратных дако-мизийских элементов румынского заключается в том, что, поскольку они не ассоциируются у румын ни с какими соседними языками, а иногда их даже сближают с романскими элементами (ср. рум. *mare*, которое до сих пор соотносили не с алб. *madh(ë)* «большой, крупный», а с лат. *mas* (*maris*) «мужской»), никогда не возникало стремление изгнать их из языка, тем более что некоторые из них (*mic*, *mare*, *codru*, *сорас* и т.д.) совершенно неотделимы от румынского языка и часто ничем в нем не заменимы.

Следует думать, что этим словам, часто существенно определяющим облик языка, обеспечена преимущественно долгая жизнь, настолько прочно они в него вошли. С течением времени в румынском языке будут, очевидно, обнаружены еще не открытые в нем дакийские элементы, и тем самым еще яснее станет их важная, определяющая для его специфики роль. Подобные открытия будут иметь важное значение и для реконструкции и изучения ныне мало нам известного дакийского языка.

Особенности роли субстрата в формировании лексики, рассмотренные на материале романских языков, могут быть подтверждены также другим языковым материалом. Видимо, это относится среди прочих к такой особенности, как разная степень сохранности сугубо субстратной лексики, т.е. лексики типично реликтной, обозначающей понятия, которые обычно не заимствуются.

Наблюдается здесь, в частности, следующая закономерность: в том случае, когда язык, принадлежащий к определенной языковой семье, оказывается от нее в изоляции, в нем сохраняются, как правило, реликтные субстратные лексемы, поскольку в данном случае язык обслуживает только его носителей, которые практически не заинтересованы в том, чтобы он был понятен носителям родственных языков. В таком положении находится, например, осетинский язык, наслоившийся на какой-то иберийско-кавказский, который растворился в нем и стал его субстратом, — ср.: осет. *k'ax* «нога» (чеч. *ког*, туш. *kok*, инг. *ког*, акуш. *ках* «то же», хварш. *қақа* «голень») (Абаев, 1958, с. 619), *k'ux/k'ox* «рука, кисть руки, палец» (чеч. *kuǰ* «рука») (Абаев, 1958, с. 644), *зух*, *зих*, *с'ух* «рот; пасть» (вейнах. *z'ok*, Зок «клюв», балк. *žux* «рот, морда», абх. *а-č'ə*, убых. *čə*, абадз. *že*, каб. *žeh*, *ž'e* «рот») (Абаев, 1958, с. 408–409), *бул*, *bilə* «губа; край; берег» (дид. (бежет.) *bəl*, *bil* «губа», сван. *p'il* «губа», груз. *p'iri* «рот») (Абаев, 1958, с. 277–278), *fun3/fin3(ə)*, *fij* «нос; кончик» (абх. *а-рənc'a* «нос», убых. *fač'ä* «то же», мегр. *p'iži*, груз. *p'inčvi*, арм. (< ибер.-кавк.) *p'inž* «ноздря») (Абаев, 1958, с. 497), *dūr/dor* «камень», *dūrgyn* «каменистый» (груз. *t'ali* «кремень», чеч. *t'ul-g* «камень», инг. *t'ol-g* «камешек») (Абаев, 1958, с. 376), *сəхəг* «горящие уголья; жар; огонь; искра» (груз. *sxeli* «горячий», *sxari* «жгучий», *sexli* (< *se-sxl-) «огонь») (Абаев, 1958, с. 308), *сəгун3/сəгин3ə* «столб» (груз. *čxiri* «палочка», абх. *čxənž* «палка для вешания котла») (Абаев, 1958, с. 297–298), *ləg* «мужчина; муж; человек» (абх. *ləgəž*. «старик») (< *ləg «человек» + *až. «старый»), *кина-луг*. *ləgəd* «мужчина», абаз. *ləg* «раб; холоп», туш. *lag* «раб», чеч. *laǰ* «то же», авар., дарг. *lağ* «то же», каб. *tle* (*l'ə*) «мужчина; муж») (Абаев, 1973, с. 19–21); *вəх* «лошадь» (чеч. *beqhi* «жеребенок», инг. *baqh* «то же») (Абаев, 1958, с. 255–256). Все эти слова имеют соответствия в иберийско-кавказских языках, следовательно, восходят к иберийско-кавказскому субстрату, и отсутствуют в других иранских языках, о чем свидетельствует частично осетинский язык, где сохранились (преимущественно в ограниченной функции) синонимы к данным сло-

вам, имеющие соответствия в других иранских языках, – ср. осет.: *arm* «рука» (перс. *arm* «то же», *zaa ärmä* «плечо»), *fad* «нога» (белудж. *pād* «тоже», перс. *pā, pāi*), *jəfs/əfsə* «кобыла» (< «лошадь» (перс. *asp* «лошадь», пехл. *asp*, курд. *hasp*, белудж. *aps, haps* «то же», афг. *асра* «кобыла»), которые в свою очередь имеют соответствия в других индоевропейских языках. В приведенных примерах из румынского (с дакийским субстратом) и осетинского (с иберийско-кавказским) обращает на себя внимание сохранение реликтных слов, наиболее типичных для субстрата, причем часто из совершенно одинаковых лексико-семантических групп (напр., названия частей тела). Как показывает пример французского, и в нем субстрат в общем передавал те же элементы (ср. фр. *trogne* «рожа, морда» (< «нос») – кимр. *trwyn* «нос»), однако эти элементы, ввиду тесной взаимосвязи с латинским и с родственными романскими языками, были или полностью вытеснены из языка, или попали на его стилистическую периферию, как бывает с обычными заимствованиями. В румынском, находившемся в изолированном положении по отношению к другим романским языкам, и в осетинском, изолированном от родственных иранских, субстратные лексические элементы оказались в наиболее благоприятном положении, что и позволило им сохраниться в наибольшей степени.

2. Роль субстрата в формировании грамматики

Вопрос взаимодействия и взаимовлияния языков в области грамматики, в особенности в отношении наиболее сложного типа взаимовлияний – субстратного, освещен значительно меньше, чем, например, вопрос о лексическом и даже более сложном фонетическом взаимовлиянии. Обычно говорится о малой проницаемости грамматического строя языка¹⁵. Это положение может быть принято только с рядом огово-

рок и уточнений. Прежде всего, оговорки требует уже само сравнение грамматики с лексикой как неким «эталоном» неустойчивости. Совершенно справедливым представляется высказанное по этому поводу замечание В.И.Абаева, которое уместно здесь привести: «...лексика имеет репутацию самого неустойчивого элемента языка. Действительно, нигде в языке так не распространено заимствование, как в лексике. Отсюда известное недоверие к лексике при решении генетических вопросов, в том числе и вопросов субстрата. Однако это недоверие закономерно только до тех пор, пока мы подходим к лексике недифференцированно. Но когда мы внимательнее изучим исторические судьбы различных слоев лексики, мы убеждаемся, что в ней есть некоторые весьма устойчивые элементы, которые по своей стойкости могут соперничать с самыми стойкими элементами фонетики и морфологии. Сюда относятся местоимения, числительные и глаголы, названия частей тела, повседневных явлений природы, термины родства, основные социальные термины. Эти слова, образующие основной лексический фонд языка, живут тысячелетия и мало подвержены заимствованию. Поэтому при решении генетических вопросов на них можно положиться так же, как на любые устойчивые структурные элементы языка» (Абаев, 1956, с. 64–65)¹⁶. По-видимому, сложность проникновения чужезычного влияния в грамматическую сферу, как и в сферу основного лексического ядра языка, связана в значительной степени с их частотностью. Поскольку элементы грамматического строя находятся все время «в работе» (и даже в большей степени, чем всякая, даже самая употребительная лексика, кроме предельно универсальной «грамматикализованной» типа союзов, предлогов, служебных и модальных глаголов, артиклей, местоимений), заимствовать грамматические элементы, изменить грамматический строй чрезвычайно трудно. Тем не менее изменения и в грамматике

¹⁵ Ср., например, следующее характерное высказывание: «Внутренний характер грамматической семантики и высокая степень ее системной организации затрудняют иноязычное влияние на грамматику» (Мечковская, с. 389).

¹⁶ К приведенному следует добавить, что подобной же, а возможно, и большей стойкостью отличаются все слова, относящиеся к служебным частям речи, которые часто непосредственно (например, в аналитических языках предлоги) обслуживают грамматику.

происходят. Однако происходят они, – если иметь в виду прежде всего существенные, заметные сдвиги, – как правило, не тогда, когда речь идет об эпизодических или малоинтенсивных языковых контактах, а когда имеем дело с длительным и тесным взаимодействием языков, которое как раз и характерно для субстратных отношений.

Как показывает рассмотрение соответствующего языкового материала, языковые изменения, вызываемые субстратом или явлениями, близкими к нему, имеют разный характер и по-разному формируют грамматическую систему языка. Изменения идут обычно по двум линиям: материальной и (или) семантической.

Непосредственные материальные заимствования, точнее включения, грамматических элементов наблюдаются относительно редко, хотя полностью далеко не исключены. Имеются два типа материальных включений грамматических элементов: тип общего (универсального) и тип частного (специального) включения. В первом случае включаемые элементы используются как универсальное грамматическое средство, обслуживающее в одинаковой мере как заимствованные, так и исконные слова (и даже в наибольшей степени исконные, поскольку они если не количественно, то по частотности всегда в языке преобладают). Во втором случае включаемые грамматические элементы проникают только со словами субстратизируемого (субстратизированного) языка и на слова языка-преемника, как правило, не распространяются, а если это и происходит, то преимущественно только под влиянием того, что определенные заимствованные лексемы воспринимаются как часть лексики субстратного, языка. Таким

образом, в первом случае грамматические показатели заимствуются и вводятся во всю без исключения грамматическую систему языка-преемника. Во втором случае грамматические особенности включаются в язык-преемник вместе с заимствованными словами, которым они свойственны. В результате этого в языке возникает что-то, напоминающее «язык в языке»: с одной стороны, основная масса лексических элементов, по отношению к которым применяются правила грамматики, составляющей основу языка и той языковой семьи (группы), к которой язык относится, с другой, в нем же существуют лексические элементы, как правило, старой (предыдущей) языковой традиции, языка, которым до того пользовались. Эти включенные лексемы сохраняют грамматические особенности предыдущей языковой традиции, первого языка, не подчиняясь, как обычно бывает, грамматике второго языка.

Примером первого случая, когда заимствование грамматических элементов не ограничивается заимствованной лексикой, а распространяется на весь язык в целом, является алеутский медновский диалект. В отличие от беринговского и других диалектов алеутского языка, где сохраняются полностью исконные грамматические показатели, здесь в систему глагола были включены русские грамматические показатели, что следует объяснять с социо- и этнолингвистической точки зрения тесными взаимными контактами носителей алеутского и русского языков, а с точки зрения чисто лингвистической – большей сложностью алеутской грамматической системы. В связи с этим алеутская глагольная флексия была заменена русской, ср.:

Беринговский диалект

Настоящее время

ава-ку-к'
ава-ку-х'т
ава-кух'
ава-кус'
ава-кух'т-хичих

«работаю»
«работаешь»
«работает»
«работаем»
«работаете»

Медновский диалект

аба-ю
аба-ишь
аба-ит
аба-им
аба-ити

Отрицательная форма (настоящего времени)

айгал-лака-с

«мы не идем»

ни-айгала-им...

Прошедшее время I

ава-на-х

«работал»

аба-л

Прошедшее время II

ава-майа-на-х

«сейчас работал»

аба-майа-л

Будущее время I

ава-н'ан-анах

«будет работать»

будет абать...

Повелительное наклонение

Положительная форма

ава-да

«работай!»

аба-й и т.п.¹⁷

Приведенный пример заимствования глагольной флексии (как и вообще грамматических показателей словоизменения) относительно, несомненно, к числу довольно редко наблюдаемых в языке. К тому же он не является совершенно показательным («чистым») как пример именно субстрата, скорее всего, в данном случае речь идет о процессе включения суперстратных элементов, так как русский язык на Алеутских островах – это язык пришельцев, а не местного населения, и должен рассматриваться в качестве суперстрата алеутского. Однако, поскольку процесс формирования подавляющего большинства языков в своих истоках уходит в глубину веков и даже тысячелетий, отмеченный тип заимствования принципиально важен, так как не исключено полностью, что при возникновении некоторых из ныне существующих языков в них таким же образом могли быть включены и субстратные (в настоящее время уже не распознаваемые) элементы. В связи с этим интересно остановиться более подробно на приведенном примере включения грамматических элементов. Обращает на себя внимание, в частности, то, что в данном случае заимствуется только флексия (в том числе временная), словообразовательные же показатели (конкретно морфема -майа-, показатель прошедшего II) сохраняются, хотя обычно наблюдается противоположное явление: частичное заимствование словообразовательных элементов при сохранении флексии. Другой особенностью заимствования грамматических показателей (флексии) является то, что, как и в сфере лексических заимствований, грамматические заимствования (включения) касаются только части системы, здесь глагольной. При сплошном заимствовании (см. пример выше), особенно где

речь идет о грамматике, следовало бы, очевидно, говорить уже не о включении (или заимствовании), а о переходе на другой язык. В данном случае речь шла о том, чтобы лицам, усваивавшим новый для них язык, облегчить этот переход, в связи с чем в той части грамматической системы (глаголе), которая была для них особенно сложна, они сохранили свою флексию, заменив ею флексию усваиваемого языка.

Судя по другим примерам включения флексии (ср. перенесение окончания 1-го и 2-го л. ед. числа у глаголов настоящего времени из болгарского в меглено-румынский, приводимое у У.Вайнрайха: аfл-u-м «я нахожу», аfл-iš «ты находишь» вместо аfлу, аfли) (с. 64), случаи материального заимствования флексии не так уж редки, хотя, несомненно, количественно уступают известным примерам материального заимствования лексики, в особенности не относящейся к основному лексическому ядру языка. Правда, следует сразу же заметить, что все приведенные примеры не относятся к субстратным (в случае алеутского диалекта речь идет скорее о включении суперстратного характера, в меглено-румынском – адстратного типа), однако это отсутствие чисто субстратных фактов можно объяснить не столько принципиальной невозможностью субстратного включения данного типа, сколько малой степенью исследованности субстратных явлений в целом, из которых многие как относящиеся к чрезвычайно древним, доисторическим эпохам еще не могли быть замечены и исследованы наукой. По-видимому, приведенные примеры следует пока рассматривать в большей степени не как аргументы в пользу существования субстратных включений грамматических элементов (флексии), а как явления, допускающие предположение об их принципиальной возможности, как сигналы о необходимости дальнейших углубленных исследований в этом на-

¹⁷ Данный пример заимствован из работы: Меновщикова Г.А. Алеутский язык // Языки народов СССР: В 5 т. – Л., 1968. – Т. 5. – С. 405.

правлении, которые дадут возможность окончательно подтвердить подобное предположение (и в то же время установить степень его распространенности) или полностью его опровергнуть. На нынешней степени исследованности больше оснований для предположений о том, что подобный тип субстратных включений в принципе возможен, хотя и не принадлежит к особенно распространенным явлениям. Очевидно, конкретная возможность реализации данного явления зависела не только (и не столько) от чисто языковых, сколько от социолингвистических факторов. В том случае, когда контакт субстратизированного языка и языка-преемника происходит в условиях, способствовавших лучшему сохранению субстратных элементов (среди прочих одной из важных предпосылок этого была полная изолированность языка-преемника от родственных языков), складывались обстоятельства, благоприятствующие закреплению субстратных элементов, в том числе и грамматических, с особым трудом проникающих в язык. В тех случаях, когда такие условия отсутствовали, не могли в достаточной степени закрепиться даже элементы наиболее легко включаемые, лексические.

Таким образом, хотя явление образования субстрата своей основной причиной имеет во многом сходные социолингвистические факторы и обстановку, однако в дальнейшем на стойкость субстратных элементов, на их больший или меньший удельный вес в языке сильно влияют как конкретная ситуация образования субстрата, так и обстоятельства, сопутствовавшие дальнейшей истории языка-преемника (уже после исчезновения языка, ставшего его субстратом, и окончательного включения в него сохранившихся субстратных элементов). Предполагаемые случаи включения в язык-преемник материальных грамматических элементов субстратного языка требовали, безусловно, наиболее благоприятных условий, к которым надо в первую очередь отнести: длительность контакта между (будущими) языком-преемником и языком-субстратом; отсутствие выравнивающего воздействия со стороны какой-либо влиятельной нормы, исходящей от той части языка, которая связана с языком-преемником, но находится вне контакта с языком-субстратом; дли-

тельное отсутствие каких-либо контактов языка-преемника с родственными языками, которое бы помешало включению грамматических субстратных элементов.

Наблюдается и другой тип включения материальных грамматических элементов, когда грамматические показатели флексии остаются связанными только с заимствованными элементами, с которыми исходно сочетались и употреблялись. Таким образом, если в первом случае грамматическое заимствование приобретает универсальный характер, хотя, возможно, отправной точкой для него является заимствованная лексика, вместе с которой пришли и заимствованные грамматические элементы, первоначально употреблявшиеся только с ней, то во втором случае заимствованные грамматические элементы включаются в язык вместе с заимствованной лексикой и при ней, как правило, только и употребляются. Следовательно, возникает ситуация, при которой в языке одновременно функционируют две грамматические системы – одна основная, исконная для языка (она наиболее универсальна, поскольку обслуживает большинство лексических элементов, относящихся ко всем частям речи), другая заимствованная, включенная из другого языка вместе с лексикой, при которой она употреблялась. Общим у этого типа материальных грамматических заимствований с предшествующими является то, что, как и при заимствованиях (или включениях) вообще, заимствованные грамматические элементы составляют только часть общей грамматической системы языка, причем находящуюся в явном меньшинстве по сравнению с преобладающей исконной частью грамматических элементов. Подобную ситуацию находим в еврейском (идиш) языке¹⁸, где элементы, включенные из иври-

¹⁸ Приведенные далее примеры взяты (в принятой ныне латинской транскрипции) из книги: Русско-еврейский (идиш) словарь / Под ред. М.А.Шапиро, И.Г.Спивака и М.Я.Шульмана. – М.: Рус. яз., 1984. – 720 с. и, в частности, из помещенной в ней статьи: Фалькович Э. О языке идиш. – С. 666–715. Следует указать на фонетическое отличие иврита, включенного в идиш, от иврита, употребляемого в Израиле, что объясняется тем, что в основе первого лежит язык ашкеназийских (немецких) евреев, а второго – сефардийских (испанских) евреев.

та (древнееврейского языка), – прежде всего это относится к именам существительным – сохраняют здесь целый ряд своих грамматических особенностей: 1) образование множественного числа, получающего вместо немецких (западногерманских) по происхождению показателей множественности соответствующие древнееврейские (семитские): (для мужского рода) – *im*, напр. *xúšim* «чувства» (ед. ч. *xuš*), *xadóšim* «месяцы (календарные)» (ед. ч. *xójdeš*), *xavéjrim* «товарищи» (ед. ч. *xáver*), – иногда, правда, тот же показатель получают и некоторые слова недревнееврейского происхождения, но, очевидно, как результат того, что они могли быть заимствованы ивритом и употребляться в нем (ср. *doctójr-im* «доктора (врачи)» от ед.ч. *dóktor*; но *doctór-n* «доктора (как ученая степень)» при ед.ч. *dóktor*); (для женского) – *es*, напр. *xójves* «долги» (ед.ч. *xojv*), *matón-es* «подарки» (ед.ч. *matóne*), *šóxntes* «соседки» (ед.ч. *šóxnte*); 2) закономерное чередование гласных в основе при образовании множественного числа, напр.: *mexáber* «автор» – *mexábrim* «авторы», *mizbéjex* «алтарь, жертвенник» – *mizbéjxes* «алтари, жертвенники», *málex* «ангел» – *malóxim* «ангелы», *nózir* «аскет» – *nezirim* «аскеты», *rórec* «барин» – *prícim* «баре», *majxl* «блюдо (кушанье)» – *majxólim* «блюда», *kos* «бокал» – *kójxes* «бокалы», *gánev* «вор» – *ganóvim* «воры», *sójne* «враг» – *sónim* «враги», *šolíex* «гонец» – *šelíxim* «гонцы», *balebós* «господин (хозяин)» – *balebátim* «господа (хозяева)» и т.п.; 3) употребление слов древнееврейского происхождения в случае образования от них сложного слова в особой композитной конструкции *изафета* (*status constructus*) с определяющим после определяемого (а не наоборот, как в сложных словах германского происхождения), напр.: *bnej-dór* «сверстники» (букв. «сыновья-поколение (= поколения)», – ср. *bónim* «сыновья» (форма обычного мн. числа), *dor* «поколение»; *xaxmej-jóvon* «мудрецы Греции (греческие мудрецы)» (букв. «мудрецы – Греция»), – ср. *xaxótim* «мудрецы» (форма вне сложного слова), *rnej-hoír* «отцы города» (букв. «лицо-город (= города)»), – ср. *rónem* «лицо» и т.п. Пример употребления ивритских грамматических показателей при словах иврит-

ского происхождения в идиш также не является вполне типичным в качестве иллюстрации к ныне известным случаям субстрата, поскольку иврит представляет собой по отношению к языкам неивритского происхождения, использовавшимся евреями (и еврейским языком) (ср., в частности, греческий, арамейский, арабский, испанский (> ладино, эспаньоль), немецкий (> идиш) и под.), скорее интерстрат, чем субстрат. Однако сам автор термина интерстрат (Занд, с. 223–224), рассматривая иврит в целом как интерстрат на протяжении всей истории его существования от времени, когда он впервые был вытеснен одним из обиходных языков евреев (очевидно, арамейским), до его возрождения в XX в., находит возможным рассматривать его элементы, включенные в тот или иной из языков евреев (> еврейских языков), возникавших в разные исторические периоды, в качестве субстрата по отношению к каждому из упомянутых языков. Следовательно, все же есть полное основание (и даже необходимость), говоря о разных формах грамматических включений субстратного происхождения, упомянуть и эту. Однако специфика данного типа субстратного включения, с социолингвистической точки зрения, состоит в том, что данный субстратный язык, обладая высоким традиционным авторитетом, – что отразилось, в частности, в его продолжавшемся употреблении уже как омертвевшего в религии и письменности (в праве, науке, официальной и частной переписке и т.д.), – не исчез бесследно, растворившись в языке-преемнике, а продолжал использоваться, правда, не в быту и повседневной жизни, а с ограниченным кругом достаточно важных функций, например, как язык религии. Это не позволило языку, хотя и ставшему субстратом языка-преемника, полностью омертветь, что проявлялось в его частичном функционировании, показателем этого была и активность его грамматических элементов. В связи с этим данные субстратные элементы сохраняли определенную функциональную активность, что и вызвало их грамматическую автономность, сохранение своей грамматической специфики в рамках языка-преемника. Это дает основание говорить о том, что в данном случае субстратизировавшийся язык

не полностью завершил процесс своей субстратизации. Вследствие этого возникла как бы ситуация «языка в языке», существование в языке-преемнике частичной самостоятельной жизни языка-субстрата, сохранившегося в какой-то степени (как свидетельство этой жизни) свою собственную грамматику. По-видимому, достаточно оправданно рассматривать данную особенность субстрата как отражение частично сохранившегося двуязычия. В случаях наиболее чистой субстратной ситуации, когда субстратный язык полностью выходил из употребления, этому, вероятно, предшествовала грамматическая унификация всех лексических элементов обоих языков – языка-преемника и языка-субстрата: все они начинали употребляться независимо от своего происхождения только с грамматическими показателями языка-преемника. В данном случае, поскольку субстратизация оказывалась неполной, т.е. незавершенной (язык-субстрат продолжал употребляться как язык письменности, религии, науки, т.е. значительной части национальной культуры), а вследствие этого имелась традиция употребления грамматики языка-субстрата и сознанием достаточно четко выделялись ее элементы, сохранялось в какой-то степени и пользование лексическими элементами иврита согласно связанным с ними грамматическим правилам, а вместе с тем и материальное проявление этих правил, материальные грамматические элементы. Можно полагать, что ситуация идиш (а видимо, также других языков евреев, как арамейский (в Иудее), таджикский (у бухарских евреев), или сформировавшихся из них еврейских языков, таких, как ладино, или эспаньоль (у части евреев-сефардов) и т.п.), не является полностью уникальной. На это указывает пример других хорошо известных языков, где существовавшее в определенный период двуязычие исчезло и язык, включенный в другой, активно функционирующий, вышел из употребления. Однако ввиду продолжавшегося или продолжавшегося длительное время пользования включенным языком также самостоятельно в качестве языка религии и культуры, он сохранил не только свои лексические элементы, но и свойственную им грамматику. Одним из ярких примеров подобного положения является, в час-

тности, персидский язык (фарси) в своих арабских элементах. Как известно, современный персидский язык насыщен очень большим количеством арабизмов. Своеобразие этих арабизмов (в отличие, например, от романизмов английского языка или славянизмов румынского) заключается в том, что, помимо чрезвычайно большого числа лексических элементов арабского происхождения, что характерно для любого языка, испытывавшего сильное влияние со стороны другого, здесь существует целый ряд особенностей чисто грамматических, заимствованных вместе с арабской лексикой. Число этих грамматических заимствований, их вес (если не в количественном, то в качественном отношении) настолько значительны, что всем изучающим современный литературный персидский язык приходится, в сущности, изучать одновременно с персидским основы грамматики арабского языка. На это обстоятельство указывают даже наиболее краткие пособия по изучению персидского языка, – ср.: «Не раз уже ... мы указывали на то, что персидский язык, особенно газетный и литературный стиль речи, переполнены заимствованиями из арабского языка... Тому, кто серьезно занялся персидским языком, хотя бы и с целями чисто практического его использования, с целями, чуждыми каких бы то ни было научных стремлений, – все равно не избежать и следующего этапа ознакомления с арабизмами: изучения какого-нибудь из кратких курсов грамматики арабского языка и приобретения навыка в грамматическом разборе и чтении арабского прозаического текста. Без этого он будет оставаться недоучкой, всегда рискует не понять какое-нибудь место в газетном тексте и особенно в официальных юридических документах и будет до крайности стеснен и неловок в употреблении арабизмов в своей устной речи» (Жирков, с. 167). Так, от арабских глагольных корней в персидском языке, так же как и в арабском, образуется целый ряд производных (т. наз. пород), в большинстве случаев ограничивающихся девятью породами. Напр.: от корня ф-р-қ (основное значение «разделять») могут быть образованы следующие формы: I порода фәрқ «разделение, разница, пробор (волос на голове)»; II) ферқә «отдел, фракция»; III) фареқ

«разделяющий»; IV) ферақ «разлука»; V) тафриқ «разделение»; VI) мофәрреқ «разделитель»; VII) мофареқ «разлучающийся»; VIII) мофарәқәт «разлучение»; IX) енферақ «разлука». Примерами персидских изафетов, созданных по арабскому (семитскому) образцу и из арабских лексем сложных слов, являются изафеты со включением слов *hosn* «красота», *su'* «скверность», *'ädäm* «отсутствие», – ср.: *hosn-e'* хедмат «заслуга (букв. красота службы (-а)), *su'-e* тафаһот «недоразумение (букв. скверность взаимного понимания (-ое -ие))», *'ädäm-e* ета'әт «непослушание (букв. отсутствие послушания (-е))». Принцип сохранения автономности грамматической системы, ее использования проявлял себя, следовательно, в тех случаях, когда мертвый или, в сущности, ставший действительно мертвым в данном обществе (или для данного общества) язык сохранял в нем все-таки определенную жизнённость, т.е. употреблялся, правда, с ограниченным кругом функций. Эти функции, что следует особенно подчеркнуть, хотя и не относились к быту, повседневной жизни, являлись тем не менее важными для данного общества, будучи связанными с его духовной жизнью, идеологией, религией, теми наиболее высокими функциями языка, которые делали его сакральным, священным (ср., например, обычное название иврита у евреев в период его «омертвения» – 1^e *šon haqqodeš* «священный язык (букв. язык святости)». Из этого обстоятельства вытекало два других: 1) данный язык как священный (особенно в средние века, когда в духовной жизни безраздельно господствовала религия) был предметом обязательного обучения, прежде всего мужчин, что делало его знание довольно распространенным и (или) – что еще более важно – высоко ценившимся явлением; 2) поскольку данный язык считался сакральным, требовалось особенно бережное отношение к нему, его безупречное знание, защищающее его от искажений, а отсюда вытекало необходимость его максимально точной, вполне идентичной цитации, неизбежно предполагавшей как точность воспроизведения его фонетики, так и его грамматических показателей. Нечто подобное наблюдаем в латинской поэзии, где греческие слова (в частности, имена)

сохраняют особенности греческого склонения, – ср.: *aër* (nom. sing.) «воздух» – *aërä* «воздух» (acc. sing.) при обычном лат. *aërem*; nom. plur. *hemerodrōmōe* (от *hemerodromus* «бегун, гонец, вестник») (обычное лат. *hemerodromī*), *metamorphōsis* «превращение» (gen. plur. *metamorphoseōn* «превращений») и т.п. Со сходным явлением имеем дело также в немецком церковном языке, где уже в немецких религиозных текстах под влиянием того, что перед тем в течение ряда веков сакральные тексты были латинскими, имена, выступающие в Библии (в частности, в Новом Завете), сохраняют латинскую флексию, – ср. *im Namen Christi* (gen. sing.) «во имя Христа», *in Cristo* (dat. sing.) «во Христе», *er rief Paulum* (acc. sing.) «он призвал Павла» и т.п. (Schönfelder, S. 65). Несмотря на ряд расхождений, всюду в приведенных примерах выступает существенная, объединяющая данные факты черта: во всех случаях речь идет о неупотребляемом в быту (и в этом смысле «мертвом» для данного общества, независимо от того, был ли он действительно мертвым вообще или только применительно к рассматриваемому социуму), однако одновременно священном, сакральном для общества языке. Таковым был (или и до сих пор является) иврит для евреев, пользовавшихся в повседневной жизни языком идиш, западногерманским по происхождению; арабский, язык Корана и других священных книг мусульманской религии, для персов, пользовавшихся (и пользующихся) в повседневной жизни персидским языком (фарси), индоевропейским языком иранской группы; греческий для римских поэтов и, по-видимому, жрецов (поскольку греческая религия и мифология в Риме фактически слилась с религией римлян и стала ее неотъемлемой, причем особенно важной частью), которые в повседневной жизни пользовались латынью, языком с другой грамматической системой; латинский язык для немцев, пользующихся немецким, германским, но ввиду распространения у них христианской римо-католической религии, употреблявших как язык религии латинский. Следовательно, рассмотренное явление было распространено (и частично сохраняется до сих пор) довольно широко, причем выходит далеко за рамки явлений, характерных только для субстра-

та. Тем не менее, поскольку оно наблюдается и среди постивритских еврейских языков, где иврит (с определенными оговорками) может рассматриваться в качестве субстрата для каждого из данных языков, есть все основания считать, что в определенных случаях контакт языка-преемника с языком-субстратом мог приобрести и подобную форму. Как видно из рассмотренных иллюстраций, необходимым социолингвистическим условием данного вида влияния грамматической системы языка-субстрата, влияния настолько сильного, что она в значительной степени сохраняла свою автономность (возможность сохраняться вместе со связанными с ней лексемами), являлся высокий авторитет языка, ставшего субстратным, и сохранение им важных, связанных с сакральными, религиозных функций. Ввиду того, что далеко не все случаи субстрата открыты и изучены (не исключено, что многие из них выступают еще имплицитно), можно ожидать, что в дальнейшем будут обнаружены и другие примеры подобного автономного включения частей субстратной грамматической системы. Что касается примера иврита, включаемого в ткань идиомов, употребляемых евреями и иногда приобретающих статус самостоятельных языков, то, несмотря на то что хронологически иврит как лингвистическое образование, на которое наплаивался другой позднейший язык, напоминает собой субстрат, по своей высокой социальной (и социолингвистической) функции он больше похож на суперстрат. Однако, поскольку суперстратная ориентация иврита являлась чем-то вторичным, было бы точнее характеризовать его в качестве вторичного суперстрата, т.е. суперстрата, преобразованного из субстрата в силу своей социолингвистической роли. Ср. подобную же роль вторичного суперстрата у шумерского языка в культурной и сакральной функциях по отношению к аккадскому, — что отразилось и в соответствующих включениях, — который, наслоившись на шумерский язык и вытеснив его, в целом включил его в себя как субстрат (ср.: Ткаченко, 1975, с. 19).

В случаях возможного материального взаимодействия субстратной грамматической системы с грамматической системой

языка-преемника, рассмотренных до сих пор, речь шла, как правило, о включении материальных показателей языка-субстрата в грамматическую систему языка-преемника, включении полном, распространяющемся на всю лексику без различия ее происхождения, или частичном, автономном, не выходящем, обычно, за пределы заимствованной лексики, когда материальные грамматические показатели импортируются вместе с лексикой, связанной с ними, и за пределы этой лексики преимущественно не выходят.

Особое место занимают те примеры грамматического воздействия языкового субстрата на язык-преемник, которые иллюстрируют упрощение грамматической системы подвергнувшегося подобному воздействию идиома. Один из подобных типов воздействия обнаруживается в ливском диалекте латышского языка¹⁹. Причиной установления в постливских говорах латышского языка единой для каждой глагольной парадигмы формы, употребляющейся во всех лицах (различение их осуществляется с помощью личных местоимений), исследователи латышского языка (Rudzīte, lp. 231) считают сильное начальное ударение, характерное для ливского языка и сохраненное его носителями при переходе их на латышский язык, которое вызвало отпадение конечных гласных, являющихся личными окончаниями, а тем самым и полное формальное совпадение личных форм глагола, — ср.: (ед. ч.) 1) *es laš* (< *lasu*) «я читаю», 2) *tu laš* (< *lasi*) «ты читаешь», 3) *viņč* (литер. *viņš*) *laš* (< *lasa*) «он читает»; (мн. ч.) 1) *mēs laš* (< *lasām*) «мы читаем», 2) *jūs laš* (< *lasāt*) «вы читаете», 3) *vīņ* (< литер. *viņi*) *laš* (*lasa*) «они читают»;

¹⁹ Следует сразу же заметить, что ссылка на диалект не дает основания ограничивать применимость рассматриваемого явления только диалектными рамками. Очевидно, в принципе то, что в данном случае относится к диалекту, может быть отнесено и к языку-преемнику субстрата, тем более, что здесь, если, с одной стороны, речь идет об одном из латышских диалектов, то, с другой, имеем дело с почти всем ливским языком. Как известно, подавляющее большинство ливского населения перешло к настоящему времени на латышский язык, только небольшая его часть, преимущественно люди старшего поколения, в Курземе (Курляндии) сохраняет до сих пор ливский язык.

(ед. ч.) 1) es ceļ «я поднимаю»: 2) tu ceļ «ты поднимаешь», 3) viņš // viņš ceļ «он поднимает»; (мн. ч.) 1) mēs ceļ «мы поднимаем», 2) jūs ceļ «вы поднимаете», 3) viņi ceļ «они поднимают». Подобное формальное совпадение между личными формами в (пост)ливских говорах латышского языка наблюдается также в других временах глагола (прошедшем и будущем) (Rudzīte, лр. 231, 234–236, 237–239). Безусловно, основной толчок, давший начало развитию подобного формального совпадения личных форм глагола в (пост)ливских латышских говорах, исходил от ливского языка с его фонетикой. Однако, по-видимому, нельзя недооценивать и фактор внутреннего латышского развития, который мог в какой-то мере облегчить подобное выравнивание. Дело в том, что в латышском языке, как известно, в ходе внутреннего развития языка полностью совпали формы 3 лица единственного и множественного числа. До некоторой степени это, с одной стороны, могло облегчить унификацию остальных форм (их в латышском языке осталось меньше, чем в других индоевропейских языках, в частности, славянских), с другой, формальное с психолингвистической точки зрения совпадение двух из личных форм могло способствовать (индуцирующее воздействие аналогии наиболее распространенных личных форм, употребляемых в повествовании) развитию того, что стимулировалось самим фонетическим строем субстратного языка.

Из приведенных выше данных вытекает, что материальные заимствования грамматических элементов из субстратного языка (как результат главным образом социолингвистических обстоятельств) и материальные преобразования его грамматического строя, его упрощение (как следствие преимущественно внутриязыкового воздействия субстратного языка, его фонетики и акцентологии) отнюдь, видимо, не были чужды контактам субстратного типа. Однако подобные типы чисто материального воздействия субстратного языка на язык-преемник, надо полагать, не принадлежали при такого рода контактах к числу наиболее распространенных, типичных. Этому препятствовало, вероятно, уже положение субстратных языков, для которых наиболее

характерным является момент определенной социальной деградации, тяготение к нижним, а не верхним слоям стратификации языковых явлений. Поэтому ситуацию, при которой язык-субстрат мог навязать грамматике языка-преемника какую-то часть материальных показателей своей грамматической системы, предполагающую определенную социальную значимость субстратного языка, трудно представить как типичную для языка-субстрата. Очевидно, подобная ситуация могла оказаться возможной только в том случае, когда социолингвистическое положение языка-преемника и языка-субстрата при известном превалировании первого не представляло собой чего-то вполне стабильного, что давало возможность временного или частичного равновесия (или даже перевеса) языка-субстрата по отношению к языку-преемнику. Видимо, подобная ситуация могла возникнуть скорее всего в патриархально-родовом обществе, где, например, длительное время могли существовать и взаимодействовать отдельные по своему лингвистическому происхождению языки мужчин и женщин (ср. классический пример аравакского и карибского языков у одного из индейских племен Карибского бассейна). Характерно, что и в случае алеутского языка о. Медного речь, очевидно, также шла о носителях русского языка (скорее всего мужчинах) и алеутах (скорее всего женщинах), поскольку в отдаленные полярные области на промысел морского зверя и рыбную ловлю из русских в прошлом отправлялись только мужчины. Следовательно, и в данном случае речь идет о явлении, развившемся в условиях общества, живущего патриархально-родовым строем. Очевидно, именно здесь при наличии двух разнящихся типов языков у мужской и женской части общества, у каждой своего отдельного, и могли сложиться наиболее благоприятные условия для подобных описанным материальных заимствований из субстратного (суперстратного) языка.

В тех случаях, когда грамматические (словоизменяемые) особенности включались в систему языка вместе с заимствованной (по-видимому, нередко и субстратной) лексикой, речь шла не о полном от-

мирании языка, включаемого в язык-преемник. Отмерев и выйдя из употребления как обиходный разговорный язык, он сохранялся в целом ряде традиционных высоких функций (как язык религиозного культа, традиционной национальной культуры и литературы, национальных обычаев и обрядов, национального права, официальных документов и переписки и т.п.). Это вызвало необходимость в его изучении и усвоении и способствовало тому, что этот язык не только включался в язык-преемник, но как известный, к тому же обладающий высоким авторитетом, священный (сакральный) язык сохранял, как правило, частично и свою грамматику, что было связано не только с тем, что эту грамматику хорошо знали, а и со священностью языка, требовавшей максимального соблюдения его правил и не позволявшей поэтому «вульгаризировать» язык, смешивая его с языком, хоть и повседневного общения, но считавшимся более низким. Ср. отражение этого отношения к языкам у евреев, где длительное время идиш именовался «жаргоном», а иврит «священным языком». Характерно, что подобная автономность отмершего, но традиционно сохраняемого языка отразилась даже в орфографической традиции того же идиша: в то время, как слова германского, славянского, романского и другого происхождения, не связанные с библейской традицией, писались и пишутся здесь согласно новой, созданной для идиша орфографии, слова, связанные с религиозной традицией (как правило, ивритского (древнееврейского, гебрайского) и арамейского происхождения), писались (а в большинстве зарубежных стран и до сих пор пишутся) в соответствии с их традиционной орфографией в иврите, т.е., например, в отличие от идиш без специального обозначения гласных, зато с передачей на письме не произносимых в идише различий между согласными, и т.п. Ср., напр.: (в современном написании советских изданий) כאווער (xáver) «товарищ» – (в традиционной орфографии) חבר «то же», שאבעס (šábes) «суббота» – שבת «то же», יאמטעוו (jómtev) «праздник» – יום טוב «то же» и т.п.).

Подводя итоги всем рассмотренным выше возможным видам материального воз-

действия грамматической системы субстратного языка на язык-преемник, следует отметить, что они (за исключением грамматических преобразований, вызванных чисто фонетическими причинами) относятся к случаям скорее всего ограниченным, т.е. сравнительно менее типичным, чем обычно наблюдаемые грамматические изменения, связанные с воздействием субстрата.

Наиболее типичным видом грамматических изменений (и преобразований) в языке-преемнике, вызванных влиянием со стороны субстратного языка, необходимо признать все же не материальные, а внутренние, семантические изменения. В этом случае язык-преемник, используя свои материальные возможности, отражает с их помощью грамматические особенности языка-субстрата. С точки зрения грамматических форм, показатели языка-преемника, таким образом, сохраняются в неизменном виде или если изменяются, то в направлении своей закономерной, predeterminedной основной генетической (несубстратной) линией эволюции. Однако целый ряд материальных грамматических элементов используется уже не согласно исходной парадигматической схеме, а как бы калькируя грамматическую систему субстратного языка, по крайней мере в некоторых ее моментах. В этих случаях, например для передачи отсутствующих в языке-преемнике грамматических значений и оттенков, могут использоваться ставшие дублетными парадигматические формы. Так, в русском языке, как и в ряде славянских языков, в результате разрушения двух отдельных типов склонения существующих ц-основ и о-основ (преимущественно первого из них) и их смешения возникла в парадигме мужского рода 2-го склонения дублетность окончания родительного падежа -а и -у. В разных славянских языках эта дублетность была использована по-разному, но нигде, кроме русского языка, она не была применена так же, как в нем, для передачи двух оттенков значения: если с окончанием -а в русском языке связано чисто генитивное значение (*цена чая*), то с окончанием -у у существительных с вещественным значением связывается семантический оттенок паритивности, функциональной пе-

редачи для части чего-либо (*стакан (чашка) < достать, принести > чаю*). Для передачи этих значений в прибалтийско-финских языках употребляются два специальных падежа, генитив и партитив, имеющие каждый для передачи этих значений (функций) специальную форму (ср. эст. *tee hind* «цена чая» – *teed saama* «получить чай»). Поскольку в других славянских языках ничего подобного не встречается, а среди носителей русского языка значительную часть составляют люди, имевшие предками носителей финно-угорских языков, в том числе прибалтийско-финских, можно полагать, что данное явление возникло в русском не без влияния грамматической семантики данных финно-угорских языков. Люди, привыкшие мыслить грамматическими категориями этих языков в период двуязычия, невольно тяготели к передаче данных грамматических значений и в славяно-русском языке, для чего и могли воспользоваться двойственностью славяно-русских форм, из которых форма с окончанием *-а* была применена для передачи генитивной функции, а форма с окончанием *-у* для отражения партитивного значения. То, что эти значения оказались в русском языке свойственными только 2-му склонению имени существительного, причем лишь в мужском роде у именно данной парадигмы, может объясняться, помимо прочего, еще и тем, что двуязычие и его следы особенно сильно проявлялись в то время, когда началось усвоение славяно-русского языка. В это время славянизовавшееся финно-угорское население, не знавшее в своем языке грамматического рода, в первую очередь усваивало как наиболее нейтральный мужской род (ср. в эрзя-мордовском использование в заимствованных из русского прилагательных именно формы мужского рода: *родной литература* «родная литература» и под.). В связи с этим именно в мужском роде с наибольшей полнотой отражалась грамматическая семантика первого (субстратного) финно-угорского языка. В связи с тем что прибалтийско-финские языки с их грамматикой (и соответственно грамматической семантикой) могли оказать влияние в качестве субстратных только на севернорусские, исходно новгородские го-

воры, данное же явление отмечается и в среднерусском диалекте и основанном на нем литературном языке, наиболее обоснованно объяснять данный факт влиянием субстратного финно-угорского мерянского языка, территория которого в основном совпала с территорией формирования среднерусского диалекта. Об особой близости мерянского языка к прибалтийско-финским говорит характерный факт: единственным финно-угорским этносом, на который восходят славяне (прежде всего, новгородские словене) распространяли этноним *чудь*, помимо прибалтийских финнов (финнов, эстонцев, карел, вепсов, ижорцев, водян, ливов) была только мера. Очевидно, это объяснялось, прежде всего, особенностями их языка, особенно близкого к прибалтийско-финским, хорошо знакомым новгородцам. Следовательно, наличие данной черты, чуждой остальным славянским языкам и в то же время свойственной части финно-угорских, можно с наибольшей вероятностью объяснить воздействием мерянского или прибалтийско-финского субстрата.

По-видимому, того же субстратного происхождения (мерянского и (или) прибалтийско-финского) другая черта русского склонения (тоже 2-го склонения мужского рода), основанная на подобной дублетности русских деklinационных форм, в данном случае предложного (местного) падежа. Как известно, в русском языке в этом падеже возможны два окончания, подударное *-ѹ* (*в лесѹ, в садѹ*) и безударное *-е* (*в лесе, в саде*). Здесь также проявляется типологическое сходство русского языка (чуждое остальным славянским языкам) с финно-угорскими, прибалтийско-финскими и, по-видимому, мерянским. В ряде финно-угорских языков различаются внешнеместные и внутриместные падежи. В частности, характерны они для прибалтийско-финских языков и, очевидно, мерянского. Видимо, в связи с влиянием меряно-русского двуязычия и мерянского субстрата эти оттенки значения возникли и в русском литературном языке. Например, в предложении «В этом лесе нет ничего интересного» речь идет о лесе в целом, о взгляде на лес извне, в связи с чем фраза приблизительно равна по смыслу другой «у этого леса нет ничего инте-

ресного». В предложении «В этом лесу нет ничего интересного» речь идет уже не о лесе в целом, не о взгляде на него извне, а о том, что есть внутри леса, – о растущих в нем растениях, водящихся в нем зверях и т.п. Эти фразы вполне сопоставимы с их эстонскими соответствиями: *Sellel metsal ei ole midagi huvitavat* (адессив) «У этого леса (~ В этом лесе) нет ничего интересного» – *Selles metsas ei ole midagi huvitavat* (инессив) «В этом лесу нет ничего интересного». Ср. также рус. «В этом саде (~ у этого сада) есть что-то очаровательное» – «В саду́ есть беседка» и эст. *Sellel aial on miski hurmav* (адессив) – *Selles aias on lehtla* (наст. изд., с. 69). Следовательно, в области грамматики наиболее характерным бывает не столько материальное, сколько семантическое влияние субстрата. Двужычные лица, привыкшие к грамматической системе своего первого (впоследствии субстратного) языка, невольно переносят его черты в грамматику второго языка, используя те возможности его материальных грамматических элементов (в частности, их дублетность, вариативность), которые позволяют с помощью материальных грамматических средств второго языка выразить грамматическую семантику первого (передаваемую с помощью совершенно других по происхождению материальных средств).

Те же в общем субстратные свойства в принципе наблюдаются в осетинском языке, где при отсутствии материального вклада со стороны субстратного иберийско-кавказского языка в области грамматики обнаруживается явное влияние со стороны его грамматической семантики. Эту особенность отмечает один из выдающихся исследователей осетинского языка В.И.Абаев: «Морфология слывет весьма устойчивой, консервативной стороной языка, которая не поддается не только заимствованию, но и влиянию субстрата. Здесь следует разобраться. Под морфологией можно понимать, с одной стороны, совокупность материальных элементов, из которых, как из строительного материала, строится морфологическая система, с другой стороны, – самую эту систему, ее архитектуру, структуру, модель. В осетин-

ском... нет сколько-нибудь заметного вклада из кавказских языков в материальный инвентарь морфологии. Видимо, эта сторона действительно мало проницаема для субстрата. Другое дело – модель морфологической системы. Здесь кавказский субстрат, несомненно, оказал влияние, и прежде всего на систему склонения. Осетинское склонение, агглютинативное, девятипадежное, полностью выпадает из схемы склонения в иранских языках. В этом отношении осетинский противостоит всем остальным иранским языкам. В древнеиранском было восьмипадежное склонение, но оно было флективным, и в нем был только один локативный падеж. В осетинском же выработалось пять падежей локативного значения. Еще разительнее выступает своеобразие осетинского, если сравнить его с новоиранскими языками. В последних склонение либо вовсе утрачено, либо представлено лишь двумя-тремя падежами субъектно-объектного значения. Все, что отличает осетинское склонение от иранского, сближает его со склонением в кавказских языках восточной и южной группы: агглютинация, многопадежность, развитие локативных падежей. Особенно велика близость со склонением в языках вейнахской группы. При этом поучительно, что строительный материал (показатель множественности, падежные окончания), насколько его удастся разъяснить, – целиком иранский» (Абаев, 1956, с. 68).

Так, конкретно формант отложительного падежа мог возникнуть, как полагает В.Миллер, из форманта иранского родительного падежа a-основы (Миллер, с. 19). Местный внутренний падеж восходит, видимо, к местному падежу древнеиранского происхождения. Местный внешний падеж (ср.: *sar-yl* «на голове») возник, вероятно, из сочетания существительного с послелогом **vāl* «над, на», связанным этимологически с др.-ар. *urari* «через, над, на» (Миллер, с. 81). Таким образом, и в осетинском, как это было видно и на примерах из русского языка, новообразования в морфологической структуре (по сравнению с исходным праязыковым состоянием), возникшие под влиянием субстратного языка, проявились в семантическом, модельном плане, найдя

для своего выражения, однако, материальные средства не субстратного, а исходного праязыкового состояния.

Подводя итоги, можно сказать, что наиболее типичным проявлением влияния субстрата в области морфологии (словоизменения) является его семантическое воздействие, реализуемое в языке-реципиенте, как правило, с помощью материальных средств (формантов) не языка-субстрата и его реликтов, а основной генетической линии языка-реципиента.

3. Роль субстрата в развитии фонетики

Особенностью усвоения фонетики иностранного (не своего) языка является неизбежный конфликт, возникающий между двумя противоположными тенденциями при его усвоении, и необходимость его преодоления. С одной стороны, индивид, усваивающий фонетику нового для себя языка, тяготеет невольно к тому, чтобы сближать или даже идентифицировать ее особенности со сложившимися у него на основе фонетики первого (как правило, родного) языка артикуляционно-акустическими навыками. С другой стороны, у него сразу же возникает необходимость приспособления к носителям усваиваемого языка, а следовательно, настоятельная потребность в преодолении в фонетике нового для себя языка навыков родного. Если у него возобладала тенденция к сближению (или идентификации) иностранной фонетики со своей собственной (фонетикой родного языка), и он не может ее преодолеть, данный индивид говорит на вновь усвоенном языке с большим или меньшим иноязычным акцентом. Если индивид, усваивавший новый для себя язык, преодолел в его фонетике навыки родного (полностью или почти полностью), его произношение оценивается как безупречное (или почти лишенное акцента). Обе эти противоборствующие при усвоении второго языка тенденции, в сущности, типологически близки к двум универсальным тенденциям, действующим в любом языке (вне каких-либо языковых контактов). Общим, что объединяет эти тенденции, является принцип экономии, который, однако, поскольку речь

идет о принципе экономии со стороны двух участников диалога, говорящего и слушающего, чьи роли при этом беспрерывно меняются, приобретает противоположную направленность для каждого из двух его участников. Принцип экономии произносительных усилий со стороны говорящего проявляется в невольном упрощении артикуляций, опускании отдельных звуков или нечетком их произношении, особенно при быстром темпе речи, когда говорящий заинтересован за минимум времени донести до слушающего максимум информации. Принцип экономии со стороны слушающего требует, напротив, максимальной четкости и ясности при восприятии звуков, следовательно, наиболее тщательной артикуляции со стороны говорящего, что влечет за собой как раз неэкономность речевых усилий. При взаимодействии этих двух противоположных и противоречащих друг другу тенденций, при которых в невыгодном положении («неэкономном» или ущемленном вследствие чрезмерного тяготения к слуховой или произносительной «экономности» партнера) каждый раз (или через раз при смене роли) может оказаться любая из двух сторон диалога, устанавливается некая равнодействующая, устраивающая обе стороны – 1) оптимальная (допустимая с точки зрения слушающего) упрощенность произносительного процесса при 2) оптимальном удобстве его слушания. Сигналом отказа от чрезмерной экономии в речи говорящего партнера со стороны слушающего является переспрашивание, реплики (при разговоре, например, на русском языке) типа «Не понял», «Как вы сказали (как ты сказал)?» и под., со стороны говорящего вопросы типа «Понимаешь... (?)», «Понял?», выясняющие допустимый уровень экономии речевых усилий. При нежелании слушающего русскую речь поступить так, как в ней предписывается, употребляется реплика «Вам по-русски говорят», чем подчеркивается достаточность, ясность сказанного для слушающего как носителя (в данном случае русского) языка, для которого не требуется повышать уровень четкости произносимого выше того, что для него вполне достаточно. Необходимость объяснения этого внешне не особенно сложного процесса говорения на

одном и том же языке двумя его носителями возникает в связи с тем, что тот же принцип действует и при разговоре двух партнеров диалога, для одного из которых данный язык является родным, а для другого усвоенным в качестве второго и функционирующим (функционировавшим) параллельно с ним. В этом случае процесс слушания и говорения значительно усложняется, поскольку устные тексты, производимые носителем языка, для которого он является вторым, в связи с часто неполным им владением произносятся нередко (если не все время) невнятно или непонятно для носителя данного языка. С другой стороны, ввиду неполного владения языком билингв, для которого используемый язык не является родным, может многое (или почти все) не понимать в речи его носителя. Помимо ограниченного лексического репертуара, этому могут препятствовать слишком быстрый для него темп речи и непривычные сокращения, опускания и неполное проговаривание отдельных звуков и слогов, являющиеся вполне обычными для носителей данного языка. Если группа новых его носителей через стадию билингвизма приходит к полной смене языка, то следы утраченного ею первого языка могут сказаться во вновь усвоенном и ставшем их новым единственным языком по-разному. Иногда, в тех случаях, когда новая группа носителей невелика и социально незначима, остатки утраченного ею языка, в том числе (и прежде всего) фонетические, уже в третьем (иногда даже во втором) поколении полностью исчезают и практически сводятся к нулю (ср. судьбу многочисленных групп иммигрантов в США). О ее языковом прошлом может иногда напоминать только фамилия, да и то не всегда, нередко наблюдается даже смена или приспособление фамилий к распространенным среди носителей вновь усвоенного языка. Конечно, подобные случаи не могут подлежать рассмотрению в субстратоведческих исследованиях. Их предметом является рассмотрение случаев, где в результате смены языка остается что-либо от первого утраченного языка, что можно рассматривать в качестве его субстрата во вновь приобретенном и ставшем единственным вторым.

В связи с большей или меньшей влиятельностью или стойкостью особенностей субстратного языка, что зависит от социума, в котором произошла языковая смена, и от его взаимоотношения с социумом, от которого воспринят язык, влияние фонетики субстрата может быть более или менее глубоким. Многое зависит также от условий, в которых происходил контакт, закончившийся сменой языка. Ввиду того, что очень часто эти условия почти или полностью неизвестны, приходится их предполагать на основе их непосредственных языковых последствий, более или менее заметных следов воздействия фонетики субстрата. Как и в ряде других случаев, лингвистика здесь во многом опережает историю и археологию, которым только предстоит объяснить то, что яснее всего проявилось в языковых (в данном случае — фонетических) фактах, по весомости которых можно судить о серьезности и глубине тех социо-этнических процессов, которые к ним привели и в них отразились.

Фонетические последствия субстратных влияний обнаруживаются в виде разных по характеру явлений. Иногда речь идет о заимствовании отдельных звуков или целых их групп. Так, например, в ряде балканских языков обнаружен звук ə (разными их графиками передаваемый по-разному: алб. ë = рум. ă = болг. ъ). Этот звук, по-видимому, был свойствен палеобалканским языкам, о чем свидетельствует его наличие в албанском, непосредственно продолжающем один из них. В другие балканские языки, румынский (романский) и болгарский (славянский), этот звук пришел из субстрата, очевидно, или войдя в состав слова в тех позициях, где он выступал в языке-субстрате и вытеснив там звуки языка-преемника (в румынском из дакийского), или субстратизировав близкий «темный» (редуцированный) звук языка-преемника (в славянском болгарском из фракийского непосредственно или из языка романизированных фракийцев). Целую группу звуков (смычно-гортанных согласных) заимствовали из иберийско-кавказских субстратных языков осетинский и армянский, которые как индоевропейские языки вначале их не имели. В осетинском языке эти звуки (k' , p' ,

t', c', č') хранят до известной степени свою связь с иберийско-кавказским субстратом, указывая тем самым на свой заимствованный характер: они, как правило, связаны со словами иберийско-кавказского происхождения, — ср. k'alati (из груз.) «корзинка», gic'a (< груз. kiči) «желудок», at'ami (< груз. at'ami) «персик» и т.п. Поскольку таких слов в осетинском много, причем вместе с ними выступают слова субстратного происхождения, относящиеся к основному лексическому фонду, смычно-гортанные стали неотъемлемой частью осетинской фонетической системы. Еще более глубоким оказалось их проникновение в армянский, где они вытеснили даже исконные индоевропейские звуки, — ср. и.-е. *d*, замененное арм. (из субстрата) *t'* и т.п. (Абаев, 1949, с. 76, 518–525). К подобным звукам относят также церебральные звуки в индийских (индо-арийских) языках, которые, как полагают, заимствованы ими из дравидийского субстрата.

Очевидно, в некоторых случаях влияние субстрата могло сказаться не столько в заимствовании звуков, сколько в стимулировании его фонетической системой тех звуковых процессов, которые могли происходить в языке-преемнике и самостоятельно. Так, по-видимому, обстояло в случае перехода *g > γ > ħ* в ряде славянских языков и диалектов. Переход взрывного *g* в *γ (> ħ)* наблюдается в ряде языков, кроме славянских: в нидерландском и скандинавских (датском) из германских, в новогреческом. Поэтому объяснить это явление в славянских только одним воздействием субстрата, как склонен В.И.Абаев, несколько рискованно, однако можно полностью согласиться с ним в том, что, вероятно, в развитии этого явления воздействие со стороны скифо-аланского иранского субстрата могло сыграть большую роль. В пользу этого, в частности, говорит и изоглоссная область явления, в значительной степени совпадающая с территорией, где мог быть в прошлом распространен скифо-аланский язык, носители которого, переходя на славянский, могли в нем распространить или стимулировать явление перехода *g > γ (> ħ)* (Абаев, 1965, с. 41–52).

Фонетическое воздействие со стороны субстрата может обнаруживаться не только (и не столько) в области отдельных явле-

ний, сколько в виде системных фактов, охватывающих либо фонетику в целом, либо обширные ее области. Тот способ артикуляции звуков, который проявляется в видоизменениях со стороны носителей другого языка согласно с их произносительными особенностями и который принято называть иностранным (иноязычным) акцентом, накладывает отпечаток на всю фонетику вновь усваиваемого языка в целом. По-видимому, именно так обстояло с галльским субстратом во французском языке, где именно фонетическое воздействие со стороны субстратного языка привело, в частности, к значительным изменениям формы усвоенных в основном из народной латыни слов, серьезно отдалив французский язык от их исходной формы и от их формы в других романских языках, о чем уже упоминалось выше. Осветить соответствующие фонетические процессы чрезвычайно трудно по целому ряду причин как чисто интралингвистических (связанных с внутриязыковыми обстоятельствами процессов), так и экстра- или социолингвистических (связанных с теми общественно-историческими условиями, в которых происходила смена языков). Прежде всего науке пока мало известны диалекты галльского языка (или, возможно, галльские языки), распространенные на территории Галлии (современной Франции). Судя по тем особенностям, которые отличают французский язык от провансальского и которые могут корениться в чертах галльских субстратов севера и юга современной Франции (древней Галлии), галльский язык на севере Галлии мог существенно отличаться от того, который был распространен на ее юге. Свою роль, конечно, частично могло сыграть и то обстоятельство, что романизация юга Галлии произошла раньше, чем она завершилась на севере и, следовательно, влияние латыни как народной, так и книжно-литературной здесь могло быть сильнее. Кроме того, нельзя не согласиться и с мнением А.Мейе, считавшего, что ряд фонетических явлений, существовавших в субстратном языке в виде определенных тенденций, мог, переходя по наследству от поколения к поколению, получить свое дальнейшее развитие и обнаружиться в виде системных фонетических изменений уже во

втором языке после утраты первого субстратного языка и полного перехода на второй (в данном случае при переходе с галльского языка на галло-романский диалект латинского языка, в дальнейшем развившийся в отдельный романский французский язык), – например, ослабление и падение интервокальных взрывных согласных, переход $u > \ddot{u}$ и т.п. (Мейе, с. 69–70). Затем эти языковые сдвиги могли приводить к значительным изменениям формы лексем (французский язык) или к глубоким грамматическим изменениям, в частности, типа утраты глагольной флексии ((пост)ливский диалект латышского языка).

Изменения, вызванные воздействием субстрата, не всегда заметны с первого взгляда. В области фонетики (ввиду различия фонетических систем) это может быть связано с тем, что только часть фонетических изменений носила фонематический характер, и поэтому они не сразу стали ощущаться и носителями языка, и (в еще большей степени) смежными, главным образом родственными, народами, где язык не претерпел таких заметных сдвигов. Например, в аканье и редукции русского литературного языка можно усматривать влияние как южнорусских говоров, которые могли иметь в качестве субстрата какие-то древнемордовские языки или диалекты с отсутствием безударного o и редукцией (Лыткин, 1965, с. 64–83) (скорее всего, мещерского или муромского происхождения), так и среднерусской (первоначально окающей) основы владими́ро-поволжских говоров с мерянским субстратом (наст. изд., с. 30–31), который способствовал развитию в них особого типа оканья с редукцией. В русском литературном языке это могло привести к возникновению особого типа акающего вокализма с редукцией. Этот характер вокализма, правда, заметно выделяет русский (литературный) язык на фоне других славянских, но не повлек за собой особых изменений в системе его вокализма, поскольку редуцированные в русском языке не являются самостоятельными фонемами, а всего лишь их вариантами. Возможно, эта перестройка исходного славянского вокализма русского языка, в которой серьезная роль могла принадлежать и финно-угорским субстратам, только в даль-

нейшем вызовет более сложные фонетические процессы. Однако эти изменения будут лишь косвенным последствием субстратных фонетических процессов, которое с ними непосредственно не связано.

Ввиду того, что в изучении языков, в особенности их диалектов, где наиболее уловимы субстратные влияния, еще относительно мало применялись наиболее точные экспериментально-фонетические методы исследования, многое в фонетическом воздействии субстратов остается до сих пор неясным, потому что без них, как правило, улавливаются только наиболее заметные фонематические черты, остальные, менее уловимые фонетические особенности часто ускользают от исследователей. В результате ощутимый урон терпят как субстратоведческие разыскания, поскольку неуловимые (неотмеченные) фонетические черты постсубстратных говоров могут скрывать в себе существенные (иногда фонематические) черты исчезнувшего субстратного языка, так и исследование языков-преемников, ведь в их нефонематических особенностях, возможно, кроются зародыши будущих фонетических процессов, могущих впоследствии реализовать то, что в современном языке существует только как тенденция. Следовательно, экспериментальная фонетика могла бы явиться важным средством проникновения как в далекое прошлое языков, в частности, их субстратов, так в определенной степени и в их будущее. В настоящее время, когда этот инструмент еще не используют в достаточной мере, о многом в фонетическом воздействии субстратов на языки-преемники можно только догадываться или предполагать.

Более ясными являются последствия социолингвистических обстоятельств в фонетическом воздействии субстрата. По всей видимости, на большей или меньшей широте фонетического воздействия субстрата сказываются такие социолингвистические обстоятельства, как, например, влияние литературного (официального) языка, а также (близко)родственных языков, наличие/отсутствие древней (либо вообще более или менее длительной) письменной традиции, большая или меньшая диалектная расчлененность языка, статус диалектов или гово-

ров, на которые воздействовал субстрат, их положение в качестве диалектной основы литературного языка или вне его нормы и т.д. Так, если в романистике и до сих пор происходят споры о начале каждого из романских языков, в частности их фонетического облика, то это в значительной степени объясняется не действительным реальным лингвистическим их состоянием, а скорее социолингвистическим статусом тех языковых образований, из которых они возникли. Как «вульгарные» диалекты, существовавшие параллельно (и значительно ниже ее социологически) с официальной латынью, языком с древними и общепризнанными традициями, они не могли никем приниматься всерьез и соответственно фиксироваться в своем первоизданном виде; всегда, даже в случаях их отражения, предполагалась определенная латинизация народно-романских диалектных черт. Только изменение отношения к этим в прошлом диалектам, признание за ними статуса языка с определенными (хотя бы на первых порах) и ограниченными официальными функциями (ср. Страсбургские клятвы как первый фиксированный памятник французского языка) привело к тому, что то, что прежде считалось диалектом (и не фиксировалось), стало языком, т.е. заслуживающим специальной фиксации. В чисто лингвистическом отношении вначале никакой разницы между (более ранним) диалектом (и более поздним) языком могло не существовать, в конечном счете их мог разделять совершенно ничтожный временной промежуток (день накануне первой фиксации и следующий).

Определенное воздействие на фонетический субстрат шло, очевидно, и со стороны родственных языков. Например, для польского языка явление перехода $sz > s$, $ź > z$ (так называемое мазуренье) некоторые исследователи объясняют как результат возможного субстратного влияния. Этому взгляду придерживался, в частности, Я. (И.А.) Бодуэн де Куртенэ, считавший польское мазуренье результатом финского влияния (Бодуэн де Куртенэ, с. 349), по-видимому, судя по его глубине, субстратного характера. В том, что в польский литературный язык, в основном формировавшийся в Кракове, окруженном мазуру-

щей областью, мазуренье не проникло, часть ученых видели влияние великопольского диалекта, для которого оно не характерно (Szober, s. 86). Другие же, среди них и А. Брюкнер, усматривали в этом выравняющее влияние чешского языка, к образцу которого обращались при решении языковых вопросов (Brückner, s. 74). Считая, безусловно, наиболее существенным здесь влияние польских диалектов, нельзя полностью исключить и воздействие родственных славянских языков, причем не только чешского, но и старославянского, проникавшего в Польшу как из чешско-моравских и словацких земель, так и из Киевской Руси, а также древнерусского, где не было мазуренья. Знаменательно, что в нижнелужицком языке, находившемся длительное время в почти полной изоляции от других славянских языков, явление перехода $š > s$ развилось и стало нормой литературного языка.

По-видимому, то, что фонетические влияния субстрата в среднерусских говорах, такие как замена звонких согласных глухими в начале слова и, наоборот, глухих звонкими (< полувзвонкими) в интервокальной позиции (ср. *кадюка* вм. *гадюка*, *хлиба-ет* вм. *всклипывает* (наст. изд., с. 16-17)), не стали нормой литературного языка, объясняется влиянием, с одной стороны, других русских говоров, которым это явление было чуждо, а с другой, длительной (письменной и устной) древнерусской и церковнославянской традицией, которая также не знала этого явления. Не исключено, что явление цоканья, развившееся в части севернорусских говоров под влиянием прибалтийско-финского субстрата, не получило развития и не закрепилось в литературном языке, поскольку среднерусским говорам, легшим в основу литературного языка, это явление было несвойственно. Не было оно присуще и южнорусским говорам. Причем это было подержано, видимо, и тем обстоятельством, что мерянский язык, ставший субстратом среднерусских говоров, различал шипящие и свистящие и, таким образом, не мог стать основой для развития явления цоканья (наст. изд., с. 30, 57). Следовательно, большая или меньшая фонетическая (как и другая) влияние субстрата объясняется не просто сама по себе, но и конкретными внут-

ри- и внешнелингвистическими факторами. Там, главным образом, где влияние субстрата не ограничивалось воздействием других противостоящих ему тенденций, что было преимущественно связано с изолированным положением языка-преемника по отношению к другим (близко)родственным языкам, и где язык-преемник не имел длительной литературной (письменной) традиции, субстрат получал возможность наиболее сильного воздействия на язык-преемник. Там, где по отношению к подобному воздействию возникал ряд преград, влияние субстрата, в том числе и фонетическое, оказывалось не таким сильным. В некотором якобы противоречии к этому, надо полагать, справедливому положению находится французский язык с его галльским субстратом, где фонетическое воздействие субстрата было, по всей видимости, очень сильным. Однако этот факт может найти себе истолкование в ряде объясняющих его обстоятельств. Очевидно, здесь сказались то, что галло-романский диалект, не имевший никакой письменной традиции, длительное время развивался (причем на обширной территории) без какого-либо влияния сдерживавших его книжно-литературных норм. Это позволило ему значительно отдалиться от первоначальной исходной точки, народной латыни. Свою роль сыграло и то, что в галло-романских говорах действовал один галльский субстрат и что эти говоры могли фонетически резко отличаться от других романских говоров. Положение здесь сопоставимо не столько с диалектами (велико)русского языка или даже восточнославянскими языками, сколько с языками Славии в целом, где французский язык, как и другие романские языки, сравним с отдельными славянскими языками (причем, как известно, романские языки в результате более длительного периода развития разошлись между собой значительно больше, чем отдельные славянские языки). Кроме того, поскольку черты галльской фонетики (особенно диалектной) известны пока крайне мало, не исключено, что по сравнению с ней французская (< романская) фонетика претерпела значительно меньше преобразований, чем можно было бы ожидать от влияния галльского субстрата, и в этом можно было бы

усматривать сдерживающее влияние фонетики языка-преемника (галло-романского диалекта), родственных романских языков (диалектов) и самой латыни, народной и книжно-литературной. Следовательно, сказанное о закономерностях влияния фонетики субстрата на фонетику языка-преемника и на стимулирующее и тормозящее воздействие конкретных интра- и экстралингвистических обстоятельств в целом остается в силе.

4. Воздействие фразеологии субстрата на язык-преемник²⁰

Фразеологические обороты субстратного языка, как показывают проведенные исследования, в основном калькируются («переводятся») языком-преемником. По-видимому, подобному переводу подвергаются также многие произведения народного творчества (сказки, песни, пословицы, поговорки и т.п.). Народ, носитель субстратного языка, в процессе распространения двуязычия, а затем постепенного перехода со своего первого языка на второй, как бы не желая утратить все наиболее ценное из своей предшествующей национальной культуры, постепенно многое из нее переодевает в платье нового языка. Вместе с мерянским фольклором, в частности, в русский язык проникла из мерянского субстратного языка парная инициальная сказочная формула *жил-был*, представляющая собой буквальный перевод мер. *il'ul', финно-угорское, неславянское происхождение которой совершенно недвусмысленно засвидетельствовано как положительными данными финно-угорских, так и отрицательными данными остальных славянских языков.

Значительно реже, как правило в периферийных говорах, сохраняются пережиточно фразеологические обороты, преимущественно наиболее стойкие, типа формул, в своем оригинальном некалькированном виде, — ср. рус. (диал., постмер.) елусь-поелусь < мер. *Joluś pa joluś (**tenän seye(te)-juhe(te)) «Пусть будет и будет (**у тебя еда

²⁰ Этот вопрос был подвергнут подробному рассмотрению автора настоящей работы в его предшествующих исследованиях (Ткаченко, 1979, 1983, с. 220-237; наст. изд., с. 112-114), а поэтому здесь затронут лишь вкратце.

(твоя) – питье (твое)) (пожелание во время еды типа рус. «Хлеб-соль!»). Ясно, что при переходе с языка на язык с постепенным забыванием первого (субстратного) языка большее основание сохраниться имеют калькированные (переведенные) фразеологизмы, чем те, которые остались почему-либо в оригинальной форме. В целом сохранности фразеологизмов способствует в наибольшей степени их частотность, традиционность, которая, возможно, позволяет закрепить в памяти постсубстратного населения если не первоначальное значение фразеологизмов, то понимание хотя бы их функции (например, в данном случае забыто было первоначальное значение, но оборот совершенно правильно употреблялся по традиции в своей первоначальной функции приветствия-пожелания во время еды).

В настоящее время при слабой разработанности вопроса о субстратной фразеологии, как и семантике вообще, трудно сказать о том, насколько она характерна для тех или иных языков-преемников и чем определялась ее большая или меньшая распространенность в них. Как указывают на это и примеры воздействия грамматики субстрата на язык-преемник, случаи семантического воздействия субстрата (за исключением лексики и фонетики) принадлежат к наиболее типичным.

В принципе, здесь, очевидно, остается в силе то, что было сказано о других типах воздействия субстрата и тех причинах, которые могут его ограничивать. Однако в связи с преобладанием калькирования в области фразеологизмов, по-видимому, в данном случае не так действительны в качестве ограничительных социолингвистические обстоятельства, поскольку ничто не мешало проникновению «переодетых» фразеологизмов, в особенности в область фольклора, народного творчества и народно-разговорной речи, как чисто внутрилингвистические причины, то «морфологическое сито», структурно-грамматические особенности языка, которые могли мешать калькированию фразеологизма и его ответвлений в том объеме, в каком он был свойствен языку-субстрату (Ткаченко, 1979, с. 233). Так, на основе данных других финно-угорских языков можно предположить,

что мерянский парный глагол, продолжающий ф.-уг. *elä(-)-wole(-) «жить-быть», мог выступать, причем как в прошедшем, так (возможно, даже чаще) и в настоящем времени, кроме зачина, в медиальной сказочной формуле со значением: «Жил-был (жили-были)...» или «Живут-суть, живут-суть», – ср. кар. Elettih-oldih, lähti Ivan Sařovič «Жили-были, поехал Иван Царевич...» (КНСЮК 145); Sie eletäh, ollah, eletäh, ollah... «Там живут, суть, живут, суть...» (КНСЮК 419) и, видимо, и в обороте со значением «Как живешь-еси?» (≈ рус. «Как поживаешь?») (ср. эст. Kuidas etate-olete? «Как живете-есте?» VES, lk. 135). Однако ввиду отсутствия в русском в это время личных форм глагола «быть» в настоящем времени, а также его несрифмованности с глаголом «жить» в том же времени, что мешало образованию и функционированию парного слова в данных формах, в русском языке эти особенности, постулируемые внутренней формой языка-субстрата, как в языке-преемнике, не смогли быть реализованы. Таким образом, для включения субстратной фразеологии, очевидно, наиболее важными должны были быть те сугубо внутренние структурно-грамматические свойства языка-преемника, которые давали возможность ее адекватно калькировать (они же давали о себе знать и в случае грамматического влияния языкового субстрата).

* * *

Рассмотрение известных современной науке фактов языкового субстрата позволяет прийти к ряду выводов, касающихся как социолингвистических предпосылок его возникновения, так и особенностей его влияния на язык-преемник.

1. Опираясь на научную методологию отечественного языкознания и результаты современных исследований субстратных языков, следует решительно отвергнуть в качестве идеалистических и неприемлемых как взгляды, на основании которых отрицается существование субстрата и его влияний, так и взгляды, в которых это влияние как биологически обусловленное абсолютизируется и преувеличивается. Единственно приемлемым является историко-материалистический подход к явлению субстрата, при

котором он как всякое исторически обусловленное явление рассматривается в неразрывной связи с историей общества, пользующегося определенным языком (языками) и претерпевающего процесс смены языков и их изменений. Исследователь языковых субстратов с необходимостью должен учитывать как сугубо (внутри)лингвистические, так и социолингвистические обстоятельства, связанные со сменой языка, возникновением и влиянием субстрата. При отсутствии подобного всестороннего подхода он может упустить в этом сложном и диалектически противоречивом процессе самое существенное.

2. Возникновение субстрата является следствием взаимодействия двух языков, пришлого и местного, при расцвете и экспансии первого и одновременном упадке и свертывании второго, в своих пережиточных элементах становящегося субстратом первого. Этому предшествует период двуязычия носителей местного языка, который после окончательного упадка местного языка завершается окончательным переходом бывших его носителей к новому одноязычию – исключительному пользованию языком, вытеснившим первый местный язык.

3. Смена языка, завершающаяся победой одного из языков и полным выходом из употребления другого, становящегося субстратом языка-победителя и преемника, является в конечном счете результатом кризиса этнического общества, носителя (будущего) субстратного языка, что отражается и на развитии этого языка, приходящего в упадок вместе с обществом, которое он обслуживал.

4. Вновь возникшее общество, образовавшееся путем слияния местного и пришлого этнических элементов, не может, однако, вместе с местным языком отказаться полностью и от местной материальной и духовной культуры с ее ценностями. Поскольку носителем этой культуры является местный язык, часть из его элементов неизбежно, вольно или невольно, включается в язык-преемник, что не может не отдалить его от своего исходного состояния.

5. Впоследствии этот новый идиом, образовавшийся в результате слияния ис-

ходной формы языка-победителя с языковым субстратом, пережитками местного языка, при соответствующей социолингвистической ситуации может стать отдельным языком.

6. Как показывает языковая история, именно языковые субстраты, разные на разных территориях, при широкой экспансии первоначально единого языка (например, латинского) могут стать одной из главных причин, – если не самой главной, – его распада на ряд родственных языков (например, романских). Следовательно, субстрат, являясь остатком отмершего языка, способствует одновременно зарождению новой языковой жизни, возникновению нового языка.

7. Таким образом, по крайней мере для части языков можно констатировать две линии наследственности (преемственности) – основную генетическую и субстратную. Первая из них связывает язык с определенной языковой семьей (группой), вторая является определяющей для него как для отдельного языка, входящего в нее.

8. Языковые субстраты, связывая существующие современные языки с предшествующими языками тех или иных территорий, отражают в себе историческую преемственность языков и культур на этих территориях.

9. Влияние субстрата на язык-преемник зависит не только (и не столько) от значительности народа, носителя субстратного языка и развитости его культуры, а и (сколько) от дальнейшей социолингвистической ситуации, в которой язык-преемник будет находиться. При его изолированном, территориально обособленном положении среди родственных языков элементы субстрата (особенно материальные) имеют больше возможностей в нем закрепиться. В случае тесной связи с родственными языками и воздействия предшествующей основной (генетической) традиции многие из них устраняются.

10. Воздействие языкового субстрата на язык-преемник происходит на всех уровнях и в двух формах – материальной и семантической (модельно-функциональной). Первая форма в наибольшей степени характерна для влияния субстрата на уровне фонетическом и лексическом, вторая – на грамматическом и фразеологическом.